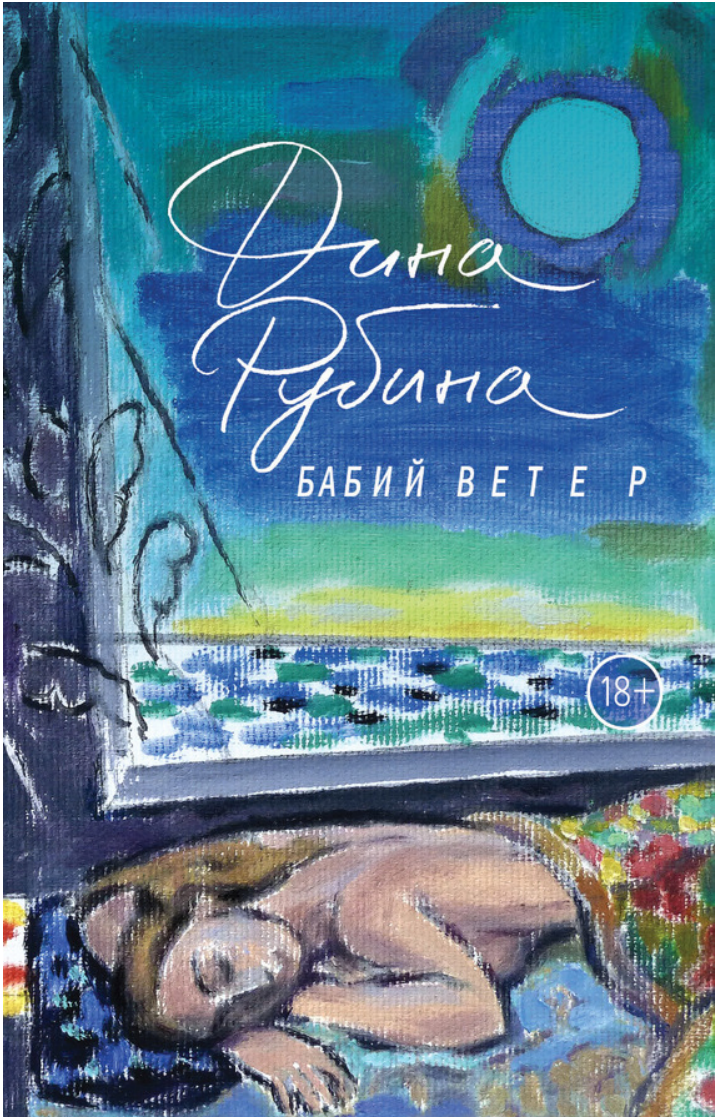
Дина Рубина
БАБИЙ ВЕТЕР
18+

Дина Ильинична Рубина
Бабий ветер

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23329534
Бабий ветер : повесть / Дина Рубина.: «Э»; Москва; 2017
ISBN 978-5-699-96406-2

Аннотация

В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой книги – Женщина. Героиня, в юности – парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой стране, можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке.

Целая вереница странных персонажей проходит перед ее глазами, ибо по роду своей нынешней профессии героиня сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день почти обыденными «гендерными перевертышами», с обескураживающими, а то и отталкивающими картинками жизни общества. И, как ни странно, из этой гирлянды, по выражению героини, «калек» вырастает гротесковый, трагический, ничтожный и высокий образ современной любви.

«Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом 18+, а лучше 40+… —ибо все в ней настолько обнажено и беззащитно, цинично и пронзительно интимно, что во многих сценах краска стыда заливает лицо

и плещется в сердце – растерянное человеческое сердце, во все времена отважно и упрямо мечтающее только об одном: о любви…»

Дина Рубина

Дина Рубина
Бабий ветер

Саше Ходорковской

…Девочка-память бредет по городу, наступает вечер, льется дождь, и платочек ее хоть выжми, девочка-память стоит у витрин и глядит на белье столетья, и безумно свистит этот вечный мотив посредине жизни.
Иосиф Бродский. «Наступает весна»

1

…Да не тушуйся ты, радость моя, мне на твои вопросы отвечать не трудно, тем боле, письменно… Такой вариант интервью позволяет отвлечься на разные мелкие удовольствия. Кофе себе сварю, запалю цигарку, припомню смешное, грустное или совсем уже дикое за день, присяду к компу и опять пощелкаю – облезлая птичка щегол…

Я чуть не каждое письмо к тебе пишу из ночи в ночь, не отсылая (такая вот нежданная забава для почтенной леди). После работы обычно устаю как собака, и сил нет ни писать, ни говорить – ты и сама знаешь: бывают минуты, когда от себя тошно. А то вдруг расправлюсь, распишусь страниц на

пять, как сегодня, и развезет меня, и заполощет… Может, потому, что опять во сне летала на шарике, и ветер усилился, и скорость приличная была, километров двадцать, а горизонт – метров триста пятьдесят. И курс почему-то – на Кинешму.

Ты когда-нибудь видела, как ставят шар?

Во всем мире аэростаты запускают на заре, либо уже на заходящем солнце, ибо температура вокруг взлетающего шара должна быть низкой, земля – холодной, а погода безветренной, без «термиков» – восходящих термальных потоков.

Представь огромное поле в предрассветной тьме: волглая тишь, роса стоит густым покрывалом на траве, на одежде, на волосах… Люди вытягивают из грузовиков спеленутые купола, как рыбаки – тяжелые мокрые сети, и отрывистые их голоса плывут темными рыбами в дремном озере слоистого тумана… А травами пахнет так, что можно сойти с ума, словно земля всеми силами пытается тебя удержать. Утробная сырость матушки-земли продирает до костей, а в самой глубине ликующей крови уже кипит это неуемное: прочь! из обжитого, насквозь твоего мира – прочь, в обжигающий холод высоты.

Эх, ладно…

Итак, распеленывают купол – шар в сборе весит килограмм триста, – расстилают на траве оболочку подержанного рекламного аэростата какой-нибудь «Пепси-колы», цепляют

ее к корзине (она лежит на боку), и в отверстое горло шара из вентилятора пошел начальный холодный воздух – потом его нагревают горелками.

И вот уже огромное полотно ходит, как живое, по нему прокатывают волны упругой дрожи: то ли удав тигра проглотил, то ли проснувшийся кашалот ворочается. Гигантская мятая башка силится подняться, валится на бок, вновь привстает, как бы ошарашенно, с бодуна оглядываясь вокруг. Мал-помалу шар начинает набирать объем: медленно пухнет, обрастает щеками, хорошеет…

Пилот сидит в корзине и струей горячего воздуха из горелок выращивает тряпку в живой упругий купол. Не знаю, кому как, но мне в этом всегда чудилось нечто ископаемое, мезозойское, что ли… мощно эротическое.

А с другого края, с макушки шара выходит фал управления – специальная веревка такая, метров двадцать длиной, за нее держатся несколько человек, не давая кашалоту всплескивать хвостом по земле. И по мере того, как шар нагревается и встает, фал постепенно отпускают, пилот переваливает корзину в вертикальное положение, а люди придерживают ее, чтобы шар не улетел раньше времени.

Проходят пять, семь минут, аэростат нагревается, подъемная сила растет, люди по команде пилота отпускают руки, и гигантский шар – маленькая планета, наполненная тугой горячей жизнью, – отрывается от земли!

Теперь закрой глаза и попытайся представить, как виб-

рируют и упруго поют-гудят тросы, как за плетеную корзину цепляется сизая рванина облаков, а ветер обжигает и шкурит лицо; как тихо плывет, освещенный изнутри ночной подсветкой, гигантский китайский фонарик метров эдак в двадцать высотой; как взбегают под брюхом, взлизывая его, бледные саламандры огня, и незабываемый – странный, ритмичный, глуховатый, похожий на далекий паровозный гудок рев выпускаемого из горелки газа сопровождает медленный полет в ледяном воздушном океане; торжественно прекрасный полет озаренного шара, летящего со скоростью ветра…

…Почему б тебе не написать повесть о воздухоплавателях, о волшебных фиестах нашей далекой юности, о бесшабашном мужестве очарованных людей? Настоящую романтическую повесть, где и любовь будет настоящая, крепкая, старой закваски любовь. И название повести дать: «Монгольфьеры» – да у тебя весь тираж раскупят за два дня.

Далась тебе эта косметология! Не представляю, кого могут заинтересовать подробности моей окаянной профессии, со всеми ее диковатыми процедурами и пикантными, мягко говоря, картинками. Иногда на вопрос собеседника о моей специальности я – если хохмить охота – отвечаю: «Не подумайте плохого, работаю в органах».

Кстати, а как ты станешь выкручиваться, называя на страницах своей повести тот самый орган, над которым я ежедневно зависаю, надев очки и предоставляя популярный *сер-*

вис под названием «бразильское бикини»? Будешь ханжески «запикивать» точками? Напрасно! Почему б и не назвать исконным народным именем нашу старую добрую… черт, даже и в частном письме как-то рука не поднимается нащелкать чеканно-звонкое слово, знакомое каждому пятикласснику. Крепко же вбили в нас трепет перед *не вырубишь топором!* (Пушкин – тот называл, не брезговал, хотя и писал самым что ни на есть гусиным пером, это уж точно.)

Ну, да воля ваша, барыня-писатель, расскажу все в подробностях, выложу, как на духу, ничего не утаю.

Итак, моя профессия… «Куда ж нам плыть?»

С чего начать? Описать для затравки, как однажды пришлось делать «бразильское бикини» одному толстому мужику? Написала «толстому», а грамотный айпад тут же поправил – «Толстому». Нет, Толстого *ваксать* (айпад выдал «вакситься», меня умиляет его педантичность!) – упаришься. И поверь, бабы куда интереснее и разнообразнее. С мужиком не поговоришь, не обсудишь новостей косметологии, не поделишься средствами борьбы с молочницей – короче, скукотища, никакого интима. Ему тоже не позавидуешь: препоручать свое добро чужим рукам. И все приказы отдаю я: «Поднять! опустить! так держать!» Да и зрелище – средненькое, уровень немого кино.

Ну ладно, я не об этом. Сижу себе, пошучиваю, дым из ноздрей пускаю – трепанная жизнью пожилая драконица.

Может, не прошел у меня еще тот позавчерашний шок? Дай расскажу…

Явилась ко мне на «бразильское бикини» мексиканка, беременная двойней. Ей, понимаешь ли, за два часа до родов понадобилось начисто убрать ее черную метелку. Взгромоздилась на кушетку, живот до потолка – не могла даже охватить его руками, чтобы мне помочь. И только я наложила слой теплого вакса, приложила ткань, дернула… как вздрогнули, сотряслись и завопили дети в ее тугом барабане. Стали топать, бить изнутри кулачками, выпирать головки и колотить ногами по брюху. Вот-вот вышибут дно и выйдут вон.

Я отшатнулась и с ужасом уставилась на это гневное головоногое восстание, я просто онемела. И тут из клиентки моей хлынули воды прямо на кушетку. Закричала она; видимо, закричала я… Перед праздником салон был полон народу – публика решила, что я добиваю краснокожих.

Ну, позвонили 911, и амбуланс приехал минут через пять, которые для меня тянулись дольше века. Вообрази эту пародию на родильное отделение: кушетка, соответствующая поза клиентки и я, акушер-косметолог в резиновых перчатках.

Сейчас-то я уже и зубоскалить могу, а тогда все так стремительно и страшно понеслось: я держала ее ноги, кто-то держал голову. Мне повезло, я увидела очевидное и все же невероятное: клянусь, мне казалось, что там, в отполированной моим ваксом щели, ворочается темечко!

Ну, приехали, значит, одновременно и амбуланс, и полиция, клиентку-пациентку спросили, когда ее срок рожать. Она простонала: «Вчера, сегодня, завтра…»

Врач только руками развел. Политкорректность американская не позволила выразить, что он думает об этой идиотке. Наконец, увезли ее, впору было и меня свезти в какую-нибудь палату, ибо полиция, как положено, подвергла меня небольшому допросу: не был ли слишком горячим вакс, не спровоцировала ли я роды своими непрофессиональными действиями. Обычная рутина… я же оцепенела от ужаса: шутка ли, обвинение в халатности, и где – в Америке, зачарованной державе судебных исков! Понятно, работать в тот день я уже не могла – руки трясутся, подбородок дрожит, глаза на мокром месте. Коллеги меня чем-то напоили, успокоили и отвезли домой. Больше ничего не помню: проспала часов двенадцать. Это три моих обычных нормы.

А недавно тоже интересный случай был. Пришла на ту же процедуру молодая негритянка. Ничего, что я их по старинке зову, как Марк Твен и Агата Кристи? Никогда не могла постичь главного жупела Великой Политкорректности: страна Нигерия есть, а негров, хоть обыщись, нигде нет; при том, что китаянку я вполне могу назвать китаянкой – той по фигу, ибо смотрит в корень.

Короче, явилась такая вот черная пантера, зубы сияют, глазки стреляют… Поставила ее в привычную позицию, вид

сзади, смотрю – мама родная! – да у нее вся задница искусана! Вся в шрамах, даже следы зубов различимы. О чем при виде этакого пейзажа думает нормальный человек? Конечно, о собаке. Осторожно интересуюсь – какой, мол, породы любимая собачка? А она мне с кокетливой гордостью: это муж. В определенные моменты страсти, на завершающем, так сказать, этапе неистовой любви должен непременно вгрызться! Бывало, что накладывали швы и скобки… Обернулась, увидела мое лицо и торопливо добавила: все, мол, о'кей, она и сама не может достичь апогея, пока от ее задницы не отхватят приличный кусок.

Представь-ка этот кадр: ее позу, мой белый халат… Одно хорошо: меня еще могут удивлять люди.

Люди?!.

* * *

…Это ж уму непостижимо – от чего зависит мое настроение! От снов, поверишь ли…

Снится мне покойная теть-Таня, мамина сестра, на своем рабочем месте в углу парикмахерской. Что-то там она переставляет, вытирает тряпочкой пыль с полки и рассказывает мне, уже взрослой, какие-то мелкие сплетни. А я рядом стою: двадцатилетняя кобыла, красавица каурая, в своей безумной кожанке «с разговорами» – с заклепками да молниями; в Киеве таких только две были, у меня и у племян-

ника министра тяжелой промышленности Сереги Боярина, с которым мы тогда уже вовсю прыгали с парашютом. Стою, значит, переминаюсь на длинных своих ногах, краса и гордость университета, и попутно вымазываю ресницы «харчковой» тушью «Ленинград» – помнишь эти незабвенные картонные коробочки, куда надо было смачно харкнуть, а потом повозить-помусолить щеточкой, набирая натуральную сажу, чтобы ресницы были «как у Пьехи»?

Проснулась в слезах, старая кошелка, и первым делом вспомнила необъятную теть-Танину грудь, высокую, щедрую, матриархальную! Вот это была грудь, сейчас такие только надувают! Это была Грудь-Императрица, на нее хотелось пришпилить все на свете ордена, от монгольского Полярной Звезды до Ордена Подвязки, и, уверяю тебя, еще б осталось место для какой-нибудь миленькой золоченой брошки.

Правда, и хлопот с этим хозяйством было немало: бюстгальтеры приходилось шить или доставать импортные. Доставала их для тетки мама, у нее был блат в центральном универмаге; доставала и продавала Тане на пять рублей дешевле, чем они стоили. Это была ее существенная помощь сестре. Папа говорил: «Твой процветающий гешефт…» и маму называл «мамахен-спекуляхен».

«Таня бедная, – тихо возражала мама, – а такая грудь требует вложений».

Она утверждала, что успех у мужчин Таня имеет не из-за груди, а из-за стихов. Та знала чертову пропасть стихов ти-

па *любовь не вздохи на скамейке*, а Эдуарда Асадова вообще шпарила наизусть целым сборником – само собой, он был ее любимый поэт. Ни о каких таких Мандельштаме или Цветаевой, которых я ей подсовывала, и слышать не хотела: «Та у них ни хрена не понятно!» Асадов был понятен и пронзителен, как и Щипачев.

Господи, где Таня, где я, где Щипачев с Асадовым… Черт бы побрал эти сны! – вот, с утра в башке ностальгическая пьеха подвывает…

* * *

…Зашла утром в ванную, открыла один из ящиков – чего там только нет! Бигуди: ежики, липучки, поролоновые папильотки, огромные колеса и тонкие негнущиеся трубочки. Другой открыла – там плойка, фен, еще с десяток разных штуковин, которые все равно остаются без применения. Да у меня еще самая скромная коллекция.

И вспомнила я наше бедное детство. Бедность – это главное воспоминание. Что было у парикмахера на столике под зеркалом? Ножницы. Расческа. Щипцы для завивки. Ну, одеколон, ну, пудра… Возможно, бриолин, если удавалось достать. Вот, пожалуй, и все. Ножниц нам, детям, касаться было запрещено – их ведь делали на заказ. Каждую неделю являлся Яшка-наточник и приводил ножницы «у божески вид». Ставил свою шарманку во дворе и принимался зудеть

и напевать: его гнусавый голос и визг точилки сливались в одну дикую степную песнь кочевника. Смотреть на этот процесс было моим любимым занятием, так что мне поручали отнести-принести.

Ножниц мастера никому не доверяли, зато все маникюрные принадлежности – щипчики-пилочки-пинцеты – тетъ-Таня аккуратно заворачивала в газету, затем отдельно в какую-то тряпицу заворачивала деньги, и я, прижав к груди заветные кулечки, отправлялась к Яшке. И что ж это за праздник был распрекрасный, не хуже новогодней елки: Яшка мерно наяривал педаль, а из-под руки его, из недр точильного нудежа и визготни прыскали пучки голубовато-малиновых искр! Я даже таскала из дому вполне еще годные ножи, чтобы лишний раз полюбоваться на фонтан синих брызг. И Яшка, надо отдать ему должное, хотя и видел, что ножи еще прилично режут, запускал машину и делал для меня совершенно бесплатно пару точильных заходов.

Мне было лет семь, мама была еще жива, Союз – нерушим, Украина – зависима, а русский язык – главный разговорный. Балакали, конечно, и на суржике, но до того, чтоб на парикмахерской было написано «Перукарня», надо было еще дожить.

Да, наша парикмахерская…

Одно из двух самых любимых мест моего детства: зоопарк и парикмахерская. Но в зоопарке ты на все смотришь

со стороны, а в парикмахерской я смотрела, вдыхала, осязала и слушала, крутясь в самой сердцевине бурлящей жизни. Эти парикмахерские конца шестидесятых – это театр, кино и цирк в одном пульверизаторе. Кстати, в жизни не встретила ни одного парикмахера, который смог бы выговорить слово «пульверизатор».

Все-таки потрясающий возрастной фокус: открою глаза – все расплывается и мельтешит в какой-то пыльной мережке. Закрою глаза – все ясно, выпукло и четко, хоть и полвека прошло. К окулисту, что ли, записаться…

В то время парикмахерские занимали первые этажи зданий. Наша помещалась в старом шестиэтажном, довоенном еще, а может, и дореволюционном доме с мощными стенами, лепниной по фасаду и стертой мраморной лестницей в вечно обоссанном подъезде. Сантехнические нормы были известны: горячей воды нет, холодная до третьего этажа или ночью, так что ванну наполняли водой с утра, чтоб на целый день было чем смыть говно и ополоснуть лицо-руки. Но в *нашей* парикмахерской на первом этаже холодная вода была всегда, а горячую грели в подсобке или на кухне.

В *нашей* парикмахерской я ошивалась с тех пор, как себя помнила, – ведь там работала теть-Таня, мамина сестра. Она была виртуозом в деле дамской красоты. Страшно сказать, сколько лет прошло, а я так ясно помню портьеру из темно-синей, тяжелой драпировочной ткани: ее отодвигали обеими руками и путались в ней, как в театральном занавесе.

Итак, тяжелая портьера отодвигалась, и уборщица Дора – она считала себя правой рукой всех мастеров и обижалась, когда ее называли уборщицей, – выносила кувшин с горячей водой и объявляла:

– Кипяток готов, кому на головку?

Была она медлительна и величава, понуканий не терпела; ее можно было учтиво попросить, но если голос твой выдавал малейший намек на нетерпение или, не приведи бог, неудовольствие, она невозмутимо отзывалась:

– За ваши деньги я вам хоть уши отрежу!

Кроме Доры, мне в нашей парикмахерской нравилось все. Особенно запах, вернее, многослойная и текучая ядреная смесь запахов. Въедливые ароматы одеколонов «Шипр» и «Тройной» смешивались с легкой вонью паленых плойками волос, хны, басмы и разных пергидролей. Головы клиентам мыли детским мылом – оно почти не пахло, – а ополаскивали водой с уксусом. Но самым сильно-и-дивно благоухавшим был уголок теть-Тани. На ее столе и вокруг на полках размещался целый арсенал бутылочек, баночек, пузырьков, из которых, если отвинтить крышку, вылетали едкие облачка наповал бьющих, вышибающих слезу запахов лака и ацетона. Мама просто руки мне отрывала, чтоб я не хватала все это: «Дурочка, угоришь!»

Но когда наступало время обеда, всю химию перешибали запахи еды: котлет и картошки, лука, рыбы и холодного, тушеной капусты и куриного супчика. Ибо никто не уходил на

обед домой! Все приносили кастрюльки, баночки, кулечки, и в подсобке за кухней грелось, резалось, мазалось и угощалось. Мы всегда приносили для теть-Тани что-нибудь вкусное. Мне, конечно, доставалось больше всех, каждый пытался впихнуть свое, так что мама отбивалась и повторяла: «У ребенка будет заворот кишок!» Может, оттуда у меня страсть к стряпне? – жаль, не для кого пластаться. Так, иногда пирог вишневый испеку, чтобы квалификацию не потерять; приношу его на работу, девочек побаловать. Вмиг разлетается: для них это праздник почище Дня благодарения. Но если захочешь увесистый трехтомник священных рецептов моей семьи, готовься к бурной переписке: на твою голову рухнет кулинарная Ниагара.

Прекрасно помню руки теть-Тани: неухоженные, с обстриженными под корень ногтями, с въевшейся в кожу черной краской по имени «урзол». Урзол – единственный в то время натуральный краситель, от которого ресницы и брови прихватывали цвет почти на месяц. Пятна от урзола никакая стирка не брала, и на коже он держался долго, поэтому руки теть-Тани восстановлению не подлежали. А покраска бровей и ресниц была в те времена процедурой куда популярнее, чем маникюр.

Мне это напоминало некую амбулаторную операцию: пациентку усаживали в кресло, она зажмуривалась, кожа вокруг глаз обильно смазывалась вазелином, под нижние рес-

ницы подкладывались микроскопические клочки ваты, на верхние густо намазывалась краска, которая тут же затекала под ваточку, попадая в глаза и причиняя немыслимые страдания. Дама начинала дергаться и стонать. Теть-Таня лишь посматривала на часы: должно было пройти десять минут. И только визг пытаемой жертвы заставлял ее торжественно произносить долгожданное: «Смываю!»

Она волокла клиентку под кран, властно наклоняла ее толстую дельфинью спину над раковиной, и несчастные глаза новоявленной персидской княжны бесконечно долго промывались и промывались проточной водой…

Наконец разлеплялись и одурело смотрели на мир – красные глаза затравленного кролика. Зато реснички были черными как смоль, черными, как у сказочной пери, и вот за этой несравненной красотой дамы нашего города и нашей страны мученически восходили на свою перманентную голгофу…

Теть-Таня все делала легко и красиво. Никогда и нигде я не встречала столь артистичного исполнения рабочих обязанностей. Никогда не видела, чтобы так бережно вынимали из воды каждый палец, так аккуратно промокали марлечкой, так виртуозно, вогнутыми ножничками, одной тонкой полоской срезали кожицу вокруг ногтя. И ни капли крови, ни одного неверного движения, никакой неприятности клиентке! Затем кисточка опускалась в пузырек нежно-розово-

го или кроваво-красного лака, и легкими быстрыми махами – это было маленькое чудо! – от лунки к овальному закруглению ноготь превращался в нежный лепесток. И долго китайским веером обмахивались все десять ногтей до полного высыхания…

Ох, и расписалась я сегодня! Второй час ночи, завтра с утра – нормальная пахота… Но жаль прерываться, уж больно пишется сегодня легко, пишется сегодня как по маслу… по тому маслицу, в котором плавали в кастрюльке мамины фирменные котлеты по-киевски. Так что ловлю попутный ветер.

Пара слов о национальном составе советских парикмахерских. Я встречала там и армян, и греков, и татар, не говоря уже о представителях титульных народов. Но в основном, конечно, это были евреи. Не помнишь ли, кого из королей автомобильной промышленности (вроде бы Форда?) спросили, какого, по его мнению, цвета должен быть идеальный автомобиль? Тот ответил: «Любого, при условии, что он черный».

Так вот, в *нашей* парикмахерской все, включая уборщицу Дору, были евреями. Парикмахеры, маникюрши, кассиры, экспедиторы, точильщики и… ну и клиенты.

Да, им нравилась «атмосфэра», эта теплая домашняя толкотня среди своих, эта малая родина.

Папа каждую неделю ходил бриться-стричься к Осику, разговаривали только на идиш, потом шли пить пиво…

Вообще-то, в рабочей среде города Киева нести в парикмахерскую свою щетину считалось чем-то буржуйски расточительным, едва ли не развратным. Считалось, что простой человек сам может нагреть воду, намылить собственную личность, пройтись по ней опасной бритвой и смыть пену в общей кухне под краном. Папе прощали, у него не было правой руки. А если б не было левой, то не знаю… Никто из наших соседей по рабочей коммуналке не переступал порога парикмахерской, так что мама порой стыдливо прятала руки, чтобы на кухне не заметили свежего ярко-красного лака на ногтях. Хотя маникюр ей не стоил ни копейки: теть-Таня проходилась кисточкой по ее ногтям между делом, в свободную минуту. Я тоже подставляла растопыренные пятерни, и вот уж мои пунцовые ноготки были предметом зависти всех подружек во дворе…

* * *

…Перечитала свое вчерашнее, пылко воспоминательное парикмахерское письмо, строго себя обругала: отвечать исключительно по делу, исключительно на твои вопросы – ты ведь не обязана в поисках нужной детали проворачивать мусорные горы чужих биографий…

После чего закурила, хлебнула кофейку и…

Слушай, можно я, опять же, не по теме, расскажу о любимой коммуналке? Не о своей родной, а о той, где жила в ше-

стиметровой комнате-пенале наша теть-Таня… Вижу, вижу твое скептическое лицо: на черта тебе очередная советская коммуналка, тысячу раз описанная всеми писателями. Набившие оскомину персонажи, надоевшая всем война за место в утренней очереди в уборную… И все же, пожалуйста, можно я отвлекусь от парикмахерской и расскажу о подлинном счастье моего детства? А ты уж разберешься, куда все это выбрасывать; а может, и выдернешь пинцетом тот-другой случай, жест или физиономию и присобачишь к детству какой-нибудь своей героини.

Милая моя, ты недоуменно усмехаешься, и ты права: все мы выросли в коммуналках и всё про них знаем. Все мои родственники, одноклассники, подружки и воздыхатели когда-то непременно жили в коммуналках. Это была жизнь на виду у всех. Ни интернета, ни фейсбука – мы ходили друг к другу в гости. Так что перевидала я этих змеюшников видимо-невидимо. В каждой коммуналке шла своя гражданская война. В одну следовало пробираться ползком, чтобы не разворошить осиное гнездо соседей; в другой не звали к телефону, который висел в коридоре; в третьей дрались до первой крови в очереди в уборную.

Наша коммуналка исключением не была. Помнишь сословную классификацию советских времен: из рабочих, из крестьян, из вшивой интеллигенции? Но было еще одно могучее советское сословие: жлобье. Вот оно в основном и заселяло девять комнат моей родной коммуналки. Да я уже

всех соседей и не припомню. Но, к примеру, тромбонист Шакальный (он играл в оркестре хора Григория Веревки) унавозил мое раннее детство протяжными медными глиссандо, приглушенными сурдиной. А его коронная фраза: «Чтобы дуть, надо кушать!» – до сих пор нет-нет да вырывается у меня самой…

Пузатый и тонконогий, со странно застылой ухмылкой на медно-купоросном лице опытного духовика, он страшно много ел – видимо, это уже стало болезнью. Уносил из кухни к себе дымящуюся кастрюлю – белесый пар стелился за ним по коридору, как в преисподней, – и там жадно чавкал, всвистывая макаронины в самую глубину утробы. Двери за собой не прикрывал, не успевал в осатанелом рывке к жратве. Проходишь мимо – из комнаты Шакального тяжелое урчание упыря, чавканье и свист. После чего выходил на кухню и варил следующую пачку макарон: «Чтобы дуть, надо кушать!»

Была еще Катюха Заветная (дивная, созвучная духу времени фамилия!), бедовая кудрявая бабенка, довольно миловидная, левый глаз только стеклянно-пристальный, вечный такой постовой. Мама рассказывала, как в конце сороковых ее мужа Колю – небольшой был чин в органах – ночью пришли забирать. И Катюха, в трофейной розовой комбинации, залихватски празднично голосила, волочась за Колей по коридору. А на другую ночь соседи, увидев на вешалке все тот же форменный китель, ввалились Катюху поздравлять: Ко-

ля же вернулся, Колю, видать, отпустили в рамках советской законности! Но обнаружили там чужого мужика в трусах – как раз того, кто Колю и забирал. А Катюха, в той же розовой комбинации, вопила на весь коридор, широко разбросав полные руки: «Я люблю, шоб китель в прихожей!»

Когда по утрам на кухне умывалась многодетная, бестолковая и очень бедная семья Нечипоренок, Катюха, в моем детстве уже пожилая грузная хабалка, неизменно припечатывала: «Мы на диты напердиты!» – это был ее манифест.

К одному лишь соседу Катюха испытывала подлинное уважение и симпатию, и понятно – почему: Иван Матвеич Медведенко служил вахтером на заводе шампанских вин, что на Куренёвке. Выпускали там «Советское шампанское», мускатное шампанское, игристые и тихие вина.

Иван Матвеич и сам был весьма игристым старичком: морщинистая гузка бессмысленного рта в постоянной ухмылке, и оттуда все шуточки-прибаутки… Спиртное выносил на себе в тяжеленьких резиновых грелках, подвесив их на впалом животе. Бывало, что угощал и Катюху, и тогда они за полночь сидели у нее в комнате, постепенно распеваясь, расширяясь, распространяясь крепнущими голосами на всю квартиру. Катюха тоже была фольклорным человеком. «Эх, раньше ссали – галька разлеталась! – вскрикивала она, подставляя стакан под струю игристого из грелки. – А теперь даже снег не тает…»

Между прочим, время от времени Иван Матвеич сам *во-*

дил по производству группы интересующихся. Однажды на такую экскурсию попала и я – наш седьмой «б» вывезли на «*открытый* урок». Затея директора: знакомить учеников, будущих членов общества, с разными прекрасными профессиями, например, профессией винодела. Меня среди группы подростков Иван Матвеич не опознал: к концу дня был уже игристый, шутил и подхихикивал, ладошками перед лицом шевелил и постоянно грозил нам пальцем. Но в целом, надо полагать, экскурсия получилась познавательной, помню же я ее спустя столько лет.

– Возьмем, к примеру, эту бочку, – говорил Иван Матвеич, стоя у подножия циклопического сооружения. – Она, скажем, вмещает четыре тысячи восемьсот семьдесят пять литров вина. Каждый из вас должен за свою жизнь ее выпить! Как там классик завещал насчет посадить дерево – родить сына – построить дом? Слушайте сюда, малыши. Дерево может не прижиться, дом – эт вряд ли, разве что в экскаваторщики пойдешь, сына родить – не факт, что получится, бывает, кто и помогает в этом деле. А вот это… – его ладонь любовно скользила по скату гигантского сосуда, – это человеку по силам, и осуществить это должен лично он сам, чтобы, так сказать, гордо зазвучать!.. – (Хихиканье и быстрое облизывание куриной гузки рта.) – Раз в десять лет ее чистят. Вот в это отверстие влезает Марьванна. Причем, Марьванна должна весить не более семи – шучу! – кэгэ. Она, короче, должна пролезть в эту горловину и не застрять в ней сво-

им мягким местом… Ну, влеза-ает… чистит бочку скребком изнутри… На ее симпатичной морде – респиратор, и если он свалится – хана красотке, получи летальный исход! А потому за ляжку Марьванны привязана веревка, и каждые полчаса за эту веревку дергают коллеги, оставшиеся на свежем воздухе, проверить – жива ли она, Марьванна, боевой наш товарищ…

И все же, все же… Даже и в нашей несчастной коммуналке сохранялась видимость человеческих отношений, благодаря папе и его геройской инвалидности. Папа, с его грубоватым юмором, зычным, всегда уместным народным словцом и соломоновыми решениями, подставлял грудь, плечо и голову, когда две соседки шли друг на друга со сковородками.

Да и за что было драться, если прикинуть? В уборную очереди не скапливалось, ибо находилась она во дворе – дощатая, беленая, целых три очка: сиди себе, читай газету, если от хлорки глаза не заслезятся, с соседом беседуй… Только не зимой, конечно. Зимой все *ходили на ведро*. Надеюсь, для тебя это не фигура речи? Иногда утром собиралась очередь к крану на кухне, но и та быстро рассасывалась, особо-то размываться у нас любителей не было… Так что воздух в квартире всегда был густым-матерым, хоть топор вешай, и все им бодро и дружно дышали – вот этим всенародным воздухом.

Нет. Говоря о счастье своего детства, я имею в виду совсем другую коммуналку. Чертог ума, деликатности, юмора

и красоты…

* * *

Каждую неделю мы с мамой ходили на Тарасовскую. Так это произносилось: «Идем на Тарасовскую!» Это означало: будет весело, будет вкусно, и вообще – будет здорово.

На Тарасовской в большом дореволюционном доме с лифтом жила теть-Таня – на пятом этаже. И если вспомнить, что лифт всякий раз бастовал и не фурычил, и мы с мамой карабкались на пятый дореволюционный (считай, сегодняшний девятый) этаж, можно просто сказать: теть-Таня жила высоко, вдохновенно высоко; почти на Парнасе. Недаром она знала столько советских стихов и песен.

Для меня праздник начинался уже во дворе, где ароматы котлет, супов, свежеиспеченных коржиков перешибали все остальные запахи, ибо окна кухонь выходили во двор, а парадные комнаты, бывшие залы, комнатушки и закуты обращены были на Владимирскую.

Лифт же был страшным и волшебным; он так трясся, дребезжал, скрипел и повизгивал, что мама хватала меня за руку и шепотом говорила какие-то еврейские слова – я считала их заклинанием.

Выходили в темноте (лампочка была непозволительной, да и «ненужной», говорила теть-Таня, роскошью, ведь на нижней площадке маленькое оконце истекало струйкой

пыльного света), вслепую двигались вправо, нащупывали третью сверху кнопку и жали – три раза.

– Иду-у-у! – кричала теть-Таня из кухни и шла долго, минуты две – кухня была далеко. И пока шла – в ритме строк Эдуарда Асадова, – тягуче докрикивала нам, чтобы слышали из-за двери:

Если я попаду в беду!
Если буду почти в бреду!
Все равно я приду. Ты слышишь?
Добреду, доползу… дойду!

Я не могла дождаться, когда теть-Таня доползет в своем поэтическом бреду, когда наконец откроется дверь; стояла, приплясывая от нетерпения. И бросалась бегом по коридору – мимо сундуков, стиральных ребристых досок, тазов, корыт и велосипедов – скорее здороваться со всеми! В первую очередь, с Юриком-Шуриком: мы сталкивались где-то на середине коридора и сразу хватались за руки: шесть рук, предвкушающих «безумные идиотства!». Близнецы – они были моими ровесниками, – круглоголовые, смуглые кудрявые мальчики, похожие на портрет писателя Дюма, сделанный под копирку. Хотя Дюма был мулатом, а Юрик-Шурик носили не мулатскую фамилию Губерман.

Эта коммуналка была необычной, малонаселенной: первая же дверь из прихожей направо вела к Васильчиковым. Мария Леонардовна Васильчикова, из дворян, жила в одной

комнате с дочкой Лизой и зятем Валей. Все они были красавцами. Лиза похожа на актрису Аллу Ларионову, а Валя – на Сергея Столярова в роли Садко. Когда добрый молодец Валя выходил в майке на кухню, еврейская интеллигенция подтягивалась и переставала картавить. Валя знал себе цену и позволял на себя смотреть.

После кельи Васильчиковых шла бывшая зала – там обитали Губерманы, целая компания веселых сумасбродов. Помимо Юрика-Шурика в семье были еще две дочери, девушки-погодки Нина и Милочка – хохотушки, журналистки и поэтессы, всем в квартире раздавшие прозвища. Так, их отец, архитектор Даниил Маркович Губерман, высокий волоокий брюнет, отзывался на кличку «Овод», мать семейства, известный гинеколог Неля Израилевна, послушно откликалась на «Гуль-Гуль», близнецов сестры именовали «Тяни-Толкай»… ну, и всем соседям в свое время отвесили по кличке, порой совершенно необъяснимой.

Населенная Губерманами огромная комната была когда-то не просто залой, а *залой танцевальной* – метров сорок; ее разгородили ширмами и шкафами на скромные и более-менее индивидуальные отсеки для детей и родителей, и в каждом можно было нескучно провести время. По этому семейному городку я путешествовала весь день, как по трюму корабля Вест-Индской компании, рассматривая множество диковинных и очаровательных штуковин. Если сейчас время от времени я пускаюсь разыскивать старинные чашечки

на «гараж-сейлах», в этом виновата старая танцевальная зала Губерманов. Помню там мраморный бюст Вольтера с выпученными, как в базедовой болезни, глазами; серебристый гобелен с бокастыми и задастыми купальщицами; две эмалевые мелко-чешуйчатые, русалочьи китайские вазы и целые стада фарфоровых пастушек и кавалеров в жеманных позах… Всем предводительствовал высокородный сервант. Он стоял особняком – пузатый и крутогрудый, как китайский мандарин, увитый резными плодами и листьями, с рядами хрустальных фужеров, рюмок и ваз на полках и с чем-то еще, неразличимым, смутным, но наверняка прекрасным: Неля Израилевна была хорошим гинекологом, и ее сервант красноречиво об этом свидетельствовал.

За Губерманами следовала комната теть-Тани – длинный, нелепый и неудобный пенал с единственным во всей квартире балконом. Это был наш любимый наблюдательный пункт. Вообще-то, балкон считался аварийным, и детям выходить на него строжайше запрещалось. Мы дожидались, пока взрослые в танцевальной зале размякнут и *втянутся в политику*, а дальше уже можно было не бояться: они разогревались, вскипали с каждой минутой, покрикивали, фыркали, хохотали (анекдоты!), иногда вопили…

А мы осваивали балкон, откуда разворачивался широкий познавательный обзор в любое время года. Под нами простирался проходной двор с Тарасовской на Владимирскую, через который ручейком шел народ. В поле видимости попа-

дал пищевой институт имени Микояна, где учились будущие директора и шеф-повара ресторанов, кафе и столовых – по большей части, женского пола. К институту примыкало общежитие, и его окна отлично просматривались, если тихонько стибрить трофейный бинокль Овода. Вооружившись биноклем, Юрик-Шурик высматривали в девичьих окнах такие подробности крупным планом, какие не мог подарить им в то время ни отечественный, ни зарубежный – доступный в прокате – кинематограф.

В праздничные дни, когда киевляне валом валили на Крещатик приобщиться к салюту, все мы по очереди (балкон аварийный!) выходили к сверкающим, бухающим, пыхающим, прыскающим – таким близким! – залпам, взмывавшим с Владимирской горки и с Центрального стадиона. Салют – это ж была главная тусовка того времени!

У теть-Тани кругом-бегом сияла стерильная чистота.

Все отдать, чтоб побороть недуг!
Цель – свята. Но святость этой мысли
Требует предельно чистых рук
И в прямом, и в переносном смысле!

Даже перила балкона лишены были малейшей пылинки в прямом смысле, так что ступать надо было на цыпочках и не дай бог не капнуть, не наследить, не оставить жирных пятен. Теть-Тане дети кликухи не дали – видимо, ее побаивались.

Зато Бусе Абрамовне, чья комната по коридору следовала сразу за теть-Таниной, была пожалована кличка «Бусинка», и она на нее охотно и добродушно отзывалась, не забывая, впрочем, добавить: лечишь-лечишь этих засранцев с пеленок, а они тебя держат за попугая. Буся Абрамовна не была попугаем, она была лучшим педиатром Киева: миниатюрная женщина с большими роговыми очками на крошечном носике – в ней и самой было что-то щемяще детское.

В метре от Бусинкиной двери находилась вместительная, всегда чистая ванная комната, с белейшей эмалевой ванной, до краев наполненной водой: до пятого этажа вода доходила только ночью, а мыться и смывать в уборной (тут была уборная – настоящая, с восхитительным старорежимным унитазом, – по сей день моя задница помнит ностальгическую гладкость деревянного полированного сиденья!) требовалось и днем и ночью.

Затем шла комната, где жила суровая женщина Фрида Аркадьевна, редактор чего-то партийного – о ней не помню ничего, кроме вечной огромной чалмы из полотенца, а из-под чалмы торчал восковой клювастый нос: она страдала мигренями, тихонько постанывала, а на кухонном ее столе всегда возвышалась стопка «гранок – не бегайте, разлетятся!!!». За комнатой болезной Фриды – огромная кухня с антресолями, где лежали елочные игрушки, свернутые матрасы на случай приезжих гостей и какие-то таинственные коробки, которые никто никогда не открывал.

А вот из кухни узкая дверь в углу вела в комнатушку для прислуги, куда влезла железная кровать, коврик и тумбочка. Там-то и жили – внимание! – бабушка с внучкой. Бабушку звали Изольда Витольдовна Миллер, была она немецкой коммунисткой, когда-то в двадцатые годы сменившей фатерлянд на новое справедливое для всех трудящихся отечество. А внучку – и вновь внимание! – звали Лида, Лидка, Лидуся… Да-да, наша с тобой общая подруга, в те времена голенастая, очкастая, дико-черно-кудрявая непослушная девочка с чернющими бровями, из-за которых близнецы дали ей кличку… и опять правильно! – «Бровеносец».

Она доводила бабку тем, что вообще не ела. Никогда и ничего. Во всяком случае, я не видела, чтобы в детстве Лидка хоть раз что-то жевала. Из их закутка вечно рвались вопли на немецком – Изольда Миллер знала, конечно, русский язык, но в минуты волнений переходила на родной. И когда входила в раж, печатным шагом маршировала в кухню. Там над столами висели: медные и алюминиевые половники и кастрюльки, репродукция картины Саврасова «Грачи прилетели», расписные блюда, деревянные полочки с приправами и прочее бытовое барахло. Стена над столиком Изольды была совершенно белой, просто беленной известкой, и я всегда думала, да и сейчас считаю, что безбоженная коммунистка Изольда Миллер оставила ее себе вместо иконостаса. Не то чтобы молилась на нее, но в минуты потрясения основ обращалась в это горючее никуда, заменявшее ей икону или,

не знаю уж, стену плача, что ли… Словом, бросалась к своей тюремной стене и, потрясая сжатыми кулаками, яростно восклицала: «Ich bin von Eisen!!!» («Я из железа!!!») с трагическим видом Медеи перед убийством детей.

А Лидка, свободная, тощая и огневая, вырывалась на волю – к нам, поиграть.

Тайна исчезновения ее родителей мучила нас все детство. Впоследствии оказалось, что тайны никакой нет: ее родители, веселые молодые велосипедисты, отправившись на воскресную прогулку за город, попали в одночасье под грузовик, потерявший управление. Зачем странной Изольде скрывать это от Лидки, которой в момент гибели родителей исполнилось два года, было неясно: но каждый раз, когда Лида – уже подростком – пыталась завести разговор о родителях, бабка вышагивала на кухню и, потрясая сжатыми кулаками перед своей стеной плача, грозно выкрикивала:

– Их бин фон айзен!!!

Я думаю, ты уже догадалась, что Изольде дана была кличка «Железяка»?

…Это была единственная из известных мне коммуналок, где никто не проклинал соседа в спину, не завидовал, не стучал кулаками в дверь уборной с криком: «Ты выйдешь, сука, хоть обосрись!!!»

Все пережили катастрофу – и личную, и народную. У Марии Леонардовны Васильчиковой погиб муж, и ее уплотнили до пятнадцати метров на троих. У Губерманов вся родня

ушла по приказу в Бабий Яр. «Бусинка» была фронтовым врачом, муж погиб под Новороссийском, мать и сестры лежали все по той же прописке – в Бабьем Яру. Суровая женщина, редактор Фрида Аркадьевна, всю войну прошла фронтовым корреспондентом, а детский дом с двумя ее девочками-подростками был разбомблен при посадке на поезд, увозивший детей в эвакуацию в Самарканд.

Изольда же по кличке «Железяка»… О, Изольда, наоборот, накануне войны как раз вышла из лагеря, но сразу была схвачена и отправлена уже в другой лагерь как немецкая шпионка, хотя изначально у себя в Германии когда-то была еврейкой, то есть вряд ли бы выгадала от подобной коммерции.

И только теть-Таня считалась самой удачливой: ее муж Михаил вернулся с войны раненым, но живым. А умер позднее от прободения язвы – мирной счастливой смертью, любой позавидует!

Так что же, что мне так нравилось на Тарасовской? Может, в те годы еще неосознанно, я была благодарна дому, где мне подарили жизнь? Ведь мама, забеременев мною, явилась к Неле Израилевне проситься на аборт. Время, говорила, тяжелое, неустроенное – стоит ли плодить босяков…

– Стоит, – сказала Неля Израилевна. – Босяку хорошо в любое время, ему много не нужно. – И чуть не силком стащила маму с кресла. Когда я прибегала к ним в «танцеваль-

ную залу», Неля Израилевна хватала меня, тискала и кричала маме: «Ну, какую я тебе девочку спасла?!»

А «Бусинка» всех нас лечила, даже когда мы вырастали. И еврейский вопрос никогда на Тарасовской не стоял: так уж случилось, национальный пасьянс так сложился – почти все жильцы квартиры оказались евреями, оберегать следовало русских.

Собрания темпераментных жильцов проходили на кухне. Председательствовал, само собой, «Овод», Даниил Маркович Губерман, и все шумели, возражали, перебивали друг друга, предлагали и настаивали, выдвигали встречные вопросы и замечания… Дремал и похрапывал один лишь Валя, добрый молодец Садко. И когда председатель ставил на голосование «вопрос-ребром» и произносил свое окончательное: «Все согласны?» – Валя просыпался и отвечал: «Йо!» – ибо между собой все говорили на идиш, якобы для немецкого удобства Изольды. Способный же Валя все быстро схватывал. «Русский родной, – говорил он, – а идиш стал двоюродным».

Мне до сих пор иногда снится Тарасовская, каламбуры и розыгрыши Нины и Милочки, беготня младших, снисходительный смех «Овода», отчаянное «Ich bin von eisen!!!» Изольды. Я там много чего набралась, успевая лишь головой вертеть, впитывая словечки, жесты, манеру шутить…

В начале семидесятых дом поставили на капитальный ре-

монт и всем жильцам дали отдельные квартиры. Добрый молодец Садко и его красавица жена взяли в детдоме девочку и толково ее воспитали себе на радость. «Бусинка» получила однокомнатную в самом центре города, очень тосковала по соседям, продолжала лечить детей, дарила, раздаривала свой дом и скоро умерла.

Изольда тоже умерла, лет пять перед тем сражаясь с мучительным раком легких, до последнего устраивая дела внучки и переживая, что та слишком уж худощава, – видать, она и вправду была из железа. А Лидка уехала поступать в Москву, закончила там историко-архивный, неудачно вышла замуж, разошлась, опять попыталась переломить судьбу, и вновь неудачно… В начале девяностых эмигрировала в Штаты с одной только целью: спасти меня. И, похоже, это ей удалось (их бин фон айзен!), и до сих пор выходит неплохо, как ты сама наблюдала.

Губерманы за свою танцевальную залу получили аж две отдельных двухкомнатных квартиры в Чоколовке (тогда это были выселки, а сейчас вполне приличный район), и молодежь зажила собственной кипучей жизнью.

Нина и Милочка, хохотушки, поэтессы (у дверей всегда толпились женихи, и все – артисты-шахматисты-журналисты), быстро повыскакивали замуж. Одна выбрала-таки шахматиста, мастера спорта, посвятила ему жизнь – варила кашки для его больного желудка. Он бросил ее на двадцать пятом году совместной жизни, одинокую; драгоценный, он ока-

зался стерильным. Другая – та наоборот, перебрала пяток мужей самых разных профессий, конфессий и наций, родила от каждого по птенцу и в конце концов вышла замуж за пожилого британца, владельца сети химчисток в Ливерпуле, который платил и платит за образование всех ее детей.

А насмешники-братики, кудрявые мулаты Юрик-Шурик по кличке «Тяни-Толкай», тоже разбежались: один в Израиль, другой, к сожалению, на небеса…

* * *

…Да, мой дорогой товарищ писатель, я поняла: ты просишь еще о парикмахерской. Это запросто: надо только сосредоточиться и вызвать в воображении те распрекрасные времена. Итак…

Из разговоров мастеров на профессиональные темы помню только: где взять, ничего нет, сделай сам. Привозились откуда-то бутыли, канистры, и все принимались что-то смешивать, разводить, переливать и взбалтывать – лить из говна пули.

Бог мой, я ж все помню, все! Могу мысленно пробежаться по прейскуранту и объявить те далекие цены, такие трогательные сегодня, даже поэтичные. Могу подробно описать этапы всех процедур.

Самой противной была химическая завивка. Но мастера ликовали: работа на весь день.

В химической завивке мне не нравились тухлый едкий запах и внешний вид клиента после процедуры: все становились похожими на одного и того же облезлого пуделя. Но самой страшной была термическая завивка.

Парикмахерша Роза произносила два магических слова: «Дора, агрегат!» И Дора вносила агрегат – небольшой чемоданчик, обитый черным дерматином. Жертву сажали на стул, волосы накручивали на маленькие металлические трубочки, которые втискивались в большие металлические цилиндры. От каждого цилиндра шли проводки к толстому проводу. Все это вставлялось в розетку и… елочка, зажгись! Раза два при мне «елочка» не зажигалась, из нее валил черный дым, и жертва, окутанная, как Саваоф, зловонным облаком, визгливо проклинала «это говнючее заведение!».

С тех пор я никогда не пользуюсь электробигудями, плойками, раскаленными щипцами: помню с детства и боюсь.

Возможно, первые бигуди и появились в Древней Греции, но до нашей парикмахерской они добрались гораздо позже. Не могу припомнить, чтобы у кого-то были нормальные бигуди; «химию» крутили на папильотки, и те лежали в плетеной корзинке. Процесс соблюдения санитарных норм как-то выпал из моей памяти, так что не скажу, стерилизовались ли они. Зато опыт их изготовления был у меня лет с четырех. Ни мне, ни маме, ни всей моей родне пользоваться папильотками не пришлось – нам, мама говорила, вьющиеся волосы по-

дарил «наш готеню», – а вот соседки, все как одна, по утрам выходили на кухню, как федотовский «Свежий кавалер». И я часто помогала им нарезать жесткую оберточную бумагу на квадратики и сворачивать в тугие трубочки. Мне и в нашей парикмахерской доверяли эту важную работу, чтобы не слонялась без дела и не совала нос куда не следует.

Нет, конечно, самым безопасным, самым интересным и красивым был маникюр. К маникюрному столику приставлялась маленькая табуретка, которую почему-то все называли «слоником», – синяя, крепкая, с дыркой-сердечком посередке; я взбиралась на нее и смотрела, как мама опускает руки в мыльную воду и теть-Таня священнодействует… Крепенькая девчонка в сарафане и коричневых сандалиях с дырочками, я смотрела на красные, бордовые, лиловые, оранжевые и перламутровые пузырьки лака… Лет двадцать спустя, наблюдая из корзины шара алые, золотые и перламутровые ноготки перьевых облаков на горизонте, я вспоминала о долгих минутах и часах, когда, стоя на «слонике», глядела на цветистую роскошь будущей моей свободы и думала: как же медленно идет жизнь…

К сожалению, у папы было другое мнение о маникюре. Он его высказывал, листая мой школьный дневник: «Если так пойдет и дальше, станешь теть-Таней». И, предваряя мамино возмущение, ловко уходил от скандала: «Таню люблю, но ее узкую мысль – нет». И тут его слабый русский попа-

дал в точку. Теть-Таня была милой, доброй, смешливой и услужливой; к тому же, мастером своего дела была. А я в свои небольшие годы не могла отличить широкую мысль от узкой. Мне нравилось все, о чем она шепотом рассказывала маме: о мужчине, с которым познакомилась на курорте, о его жене, с которой он хочет развестись, и о чем-то совсем секретном, что сообщала маме на ухо, и обе они заливались нежной таинственной зарей, и обе при этом хорошели…

Теть-Таня знала всё про всех, и мы с мамой узнавали от нее – с кем живут, что едят и что носят, с кем спят, от чего лечатся, с кем ругаются все мастера, кассиры, экспедиторы, уборщица Дора и даже клиенты. Этот мирок мне нравился, я мотала на ус его бытовые, криминальные и романтические тайны, рецепты интернациональных кухонь, советы по борьбе с перхотью. Обычная парикмахерская жизнь, и теть-Таня была не одинока: все говорили об одном и том же: беззлобно, подробно, интимно, бесстыдно, и все-таки сопереживая. Так было в конце 60-х, в конце 70-х, в конце 80-х. А потом…

Потом я полетела-полетела и улетела…

Но уверена, что в киевских парикмахерских и по сей день ничего не изменилось.

2

…Если твоя героиня будет маникюршей или косметологом, пусть живет и работает здесь, в Соединенных Штатах

Америки. Именно в Нью-Йорке. Знаешь почему? Здесь богаче, пестрее и диковинней панорама физиономий и судеб. В эту кипящую кастрюлю только руку запусти – что угодно выудишь: от царевны-лягушки до зубастого крокодила. К тому же, здесь у тебя, у автора, больше возможностей сменить декорации: твоя героиня, если она не дура, в нужный момент спрячет подальше свой *лайсенс* косметолога (слово «лицензия» у нас, русскоязычных, не употребляется) и вытащит из лифчика старенький скромный *лайсенс* маникюрши… И отлично сможет подрабатывать в дедском садике. Не удивляйся, это не описка. Я имею в виду наваристую халтуру в «деДском садике», дневном клубе для стариков. И это – отдельная поэма, со своим сюжетом, своими героями, своими драмами и уморительными скетчами – оставим на потом. Причем учти: дома для престарелых, где тоже заработок – дай боже, существенно отличаются от «садика». Подробности – в свое время. Короче: вперед, забрасывай героиню рискованным десантом в наши края, ибо «там» и «здесь» – это разные миры, разные производственные отношения, разная мораль. А я готова подрядиться доморощенным Вергилием, дабы таскать ее по всем кругам здешнего рая. Твое дело – наводящие вопросы.

Вот интересно: сейчас странно думать, что я видела тебя лишь однажды. Сколько там мы просидели за ужином у Лидки – часа три, не больше? Я слегка робела: все ж писатель,

человек известный, можно сказать, избалованный вниманием публики. Как ты оживилась, узнав, что я косметолог: «… Ура, а электронку свою не дадите? Я тут одну повестушку задумала…» И позже, когда прощались в дверях: «…И давай сразу на «ты», чего там, мы же ровесницы».

А спустя месяца три – письмо: «Не уверена, что вспомнишь меня, Галина…» Господи, да я все эти месяцы каждый вечер, как прибегу с работы, сразу к компу – что там в почте? Помнила, какое от тебя шло тепло, чуть ли не родственное – от чужого, в сущности, человека. Это сейчас уже – будто знакомы тысячу лет, и трудно удержаться, чтобы не вывалить на тебя всю свою жизнь.

Недавно Лидка на мои восторги по поводу нашей с тобой переписки отозвалась: не обольщайся, мол, человек на работе. Тебе, мол, нужен материал для повести, вот ты и настроена на мощный «прием», на волну отзывчивости и внимания: профессионал, ничего не скажешь. Да я все понимаю и не жду, что моя персона тебя приворожит настолько, что до скончания века ты будешь письма мне строчить. Видела, видела, как играет твой зрачок на удачную фразу или там деталь; заметила, как, восхитившись каким-то словцом в разговоре, ты тут же на салфетке его нацарапала. Все понимаю, но эти недели и месяцы нашего – поверх континентов и личных биографий – разговора… они очень, очень мне дороги, так и знай.

Интересный эффект такого дистанционного знакомства: при устном общении я бы сказала, что ты замечательно слушаешь. А вот в нашем электронном случае – как бы это точнее назвать? В такой переписке тоже ведь свой ритм возникает, как паузы в разговоре или вовремя поданная фраза, или в самую точку вопрос, который хочется обдумать… Все эти недели нашей виртуальной беседы я на какой-то одной с тобой, очень короткой волне. Едва мелькнет в голове: что ж она помалкивает? – глядишь, минута-другая – и вот оно, твое письмо!

Ну, так я о разнице в декорациях.

Вспомни парикмахерские салоны в Союзе конца семидесятых. Что за хабалки в них работали! Ни подступиться к ним, ни уважать их невозможно.

Я ведь уже здесь получала образование. Сначала закончила школу «по классу скрипки» – извини, маникюра-педикюра. Потом высшую школу – косметологии. Зарабатывать начинала в таких вот «дедских садиках» для стариков. Одноклассникам и дальней родне в Киеве стеснялась писать, что здесь, в Америке, «стране осуществленной мечты и широчайших возможностей», я всего только маникюрша. Стыдно, понимаешь, было… В те годы, когда мы росли, детей учили на фортепьянах. Вспомни, из скольких окон доносился, спотыкаясь, икая и отрыгивая, тот самый *полонезогинского!*

Считалось, что музыка обеспечит девочке достойный кусок хлеба. Я и сама отбацала в музыкальной школе семь своих каторжных лет. Насчет куска хлеба здесь все иначе. К банкиру своему относятся, конечно, теплее, чем к маникюрше, но банкир запросто пригласит свою маникюршу и на ланч, и на торжественный прием. Куда только меня мои толстосумы-клиенты не приглашали! Устала таскаться…

Кстати, важная поправка к твоему последнему письму: слово «косметичка» в русско-американском сообществе означает конкретно сумочку с разным парфюмерным барахлом: помадой, тушью, пудрой и духами. Специалиста же, работающего в области косметологии, величают уважительно: косметолог или *бьютишен*. Еще одно высокопарное название моей двусмысленной профессии: *эстетишен*. Есть даже специальные школы по подготовке только *эстетишенс*, для работы исключительно с Его Величеством Фейсом. Все, что можно сделать с лицом человека – покрасить ресницы и брови, убрать тетке усы и бороду, словом, почистить, отполировать и облагородить шкурку, данную тебе нерадивой мамкой-природой, – считается искусством косметологической эстетики. (Но не массаж; на массаж тоже надо иметь специальный *лайсенс*.)

Так вот, за годы внедрения во все углы, закоулки, подвалы, чердаки, а также и темные норы своей профессии я насобирала кучу разных лайсенсов, законно отдающих в мои хищные лапы любого клиента; ибо из обезьяны, явившейся

на порог моего кабинета, я способна, как всемогущий бог, за несколько сеансов сотворить человека, минуя длинную лестницу эволюции.

Главное, работая в этом бизнесе, ты поневоле становишься психологом. Порой достаточно беглого взгляда на человека, чтобы многое о нем понять и рассказать. Я даже научилась определять национальную принадлежность клиента по виду и типу кожи. Сразу вижу ирландцев, немцев, англичан, поляков, ну, а про мексиканцев, пакистанцев, китайцев или там индийцев вообще не говорю. Взгляну на кожу клиента и могу описать образ его жизни и качество потребляемой им пищи, а по походке, осанке, по тому, как несет свой костяк, могу рассказать о характере и даже об интеллекте человека… Иногда думаю, из меня хорошая гадалка получилась бы; заняться, что ли, этим на старости лет…

Извини, что так бестолково тебе «помогаю»: сбиваюсь с темы, заскакиваю не в те конюшни, выплескиваюсь из берегов, не сразу отвечаю на вопросы… Хотя понимаю, что любая работа, а твоя тем более, требует последовательности, и если уж ты задала вопрос, значит, работаешь как раз над соответствующим отрывком или там главой – как ты это называешь? И разные побочные соображения-отступления, размазня и брызги моих мыслей и моей персональной биографии могут тебя только сбивать с толку и раздражать. Но тут уж ничего не поделаешь, такая я анархистка во всем, что

касается собственной жизни… Санёк мой, бывало, говорил: «Опять тебя “Бабий ветер” полощет!» Он родом был с Сахалина, в ветрах понимал…

Кстати, а ты сама-то знаешь, что это за штука такая – «Бабий ветер»? Во многих регионах мира (да-да, прости и потерпи, я уже оседлала любимую воздушную тему) ветра имеют свои имена, соответственно характеру и привычкам. Над озером Селигер, например, летает «Женатый» ветер, на Дону – северный «Мужичий», в Архангельском Поморье временами задувает западный ветер «Плакун». Есть сибирский «Хиус» – зимний северяк. Есть байкальский «Баргузин», который «пошевеливай вал»; есть «Кимлач» – сильный ветер в бассейне Днестра, «Кимбур» – восточный ветер где-то на побережье Черного моря. Есть полный штиль на Азове с именем героини романа Дюма: «Бунация»… Есть западный ветер «Понент»… Есть восточный порывистый ветер «Левант», есть «Гарбий» – низовка, что гонит волну; холодная северная «Трамонтана»…

Не знаю я всего, но того, что знаю, хватило бы сейчас страницы на три одних лишь перечислений: «Я список кораблей прочел до середины…» Так что остановлюсь. Приплыли.

Словом, «Бабий ветер» – это сухой приятный ветерок на Камчатке; на нем бабы сушат белье. В конце весны и летом побережье там практически всегда окутано плотным морским туманом. Волгло, вязко, сыро так, что трудно дышать, – ну, и белье, сама понимаешь, не сохнет. Осенью и ранней

весной задувают штормовые ветра. Простынку-то они высушат быстро, но заодно и унесут с собой. А веселый такой, слегка морозный ветерок редко случается, в месяц – считаные дни. Вот хозяйки и ждут его, как манны небесной, и чуть задул, перестирывают все белье в доме, развешивая во дворах, на крышах и балконах… Вся округа плывет под парусами простыней и пододеяльников, скатертей, портьер, покрывал, платков и шалей… И шары запускать можно под этот благостный нежный ветер, ласковый, трудолюбивый… истинно – бабий…

До сих пор не могу поверить, что с этим вот «Бабьим ветром» в башке когда-то (уже страшно вспомнить, сколько лет назад) я сумела перемахнуть океан и приземлиться в Бруклине…

* * *

Ну, вот и приехала к твоему вопросу. Почему – Бруклин, привычный и обрыдлый читателям книжек про русскую и нерусскую Америку?

Отвечаю.

Если исключить Бруклин из городской черты Нью-Йорка, он стал бы четвертым по населенности городом США. Вполне себе такая небольшая страна с очень кудрявым, кипучим и разно-всяким населением; со своими давным-давно заведенными порядками, своими бандитами и полицейскими,

нищими и богачами, своими бизнесами, школами, библиотеками, музеями и концертными залами; своим роскошным Ботаническим садом и величественным кладбищем Грин-Вуд; со знаменитым деревянным променадом вдоль океана; своими ресторанами, магазинами, молельными и похоронными домами, прачечными-химчистками, косметическими и массажными салонами…

Так уж получилось, что приземлилась я в Бруклине; на Манхэттен денег не было, в Квинсе обитала в основном горская и бухарская, чужеватая мне публика. А ехать в другие *боро* (borough – отметь себе словцо, придуманное в английском языке специально для обозначения составной части Большого Нью-Йорка: Манхэттен, Квинс, Бруклин, Стэтен-Айленд и Бронкс – пять нью-йоркских *боро*; упомянешь вскользь, проявишь компетенцию) – так вот, тащиться куда-то дальше просто не имело смысла.

А началась моя Америка издалека и не сразу, все с той же воздушной темы, но – с парашютов. Где-то в конце восьмидесятых мы с Саньком исколесили страну по разным соревнованиям и тренировкам, и география аэродромов разворачивалась, как баян, – подмосковная Коломна, Лисий Нос под Питером, Сосновый Бор… О воздушных шарах тогда еще не помышляли, ведь у нас были парашюты – в смысле, Парашюты с большой буквы: в то время мы уже прыгали на ПО-17 (совершенно невообразимое, но надежное создание отече-

ственного производства) – ПО-17, славный товарищ, крыло! – он не просто спускает тебя, безвольного, на ниточках, а летит! И процессом управляешь ты, а не ветер с его непредсказуемым норовом. С ПО-17 ты можешь «приходить» в точку размером не больше гимнастического мата. Ты можешь улететь и вернуться, прогуливаясь по небесам. И приземляется он плавно, как самолет, а не втыкает тебя в землю по колено.

К тому времени мы создали команду-четверку и прыгали уже не сольно, а в группе, собирая разнообразные фигуры в свободном падении. Черт побери мое косноязычие! Если б я могла на словах передать тебе это ощущение: разбежка, тело вытянуто в струну, и лишь кончиками пальцев ты контролируешь направление полета. Вдруг формация (группа парашютистов) рассыпается, как фейерверк, на крошечные звездочки в небе; и каждый стремится подальше «убежать» от центра, чтобы в свободном небе безопасно раскрыться…

Но возвращаюсь к шарам. На одном соревновании мы познакомились и подружились с Гитой, симпатичной такой девчонкой из Вильнюса. Приехала она с мужем Вальдисом, а тот был из первых крутых пилотов воздушных шаров в СССР, официальным пилотом «Пепси-колы». Участвовал в чемпионатах, знаком был чуть не со всем светом – знал многих, в том числе и киевлян. Вот был человек! Кряжистый, длиннорукий, с круглой стриженой головой, очень сильный

физически. Излучал столько заразительной энергии – этому тайфуну невозможно было противиться. А в Киеве хоть и были уже «шаровики», но разрозненные группы энтузиастов-любителей, почти не знакомых друг с другом. И вот Вальдис приезжает в Москву на соревнования, строит нас, как первоклашек, и объявляет, что на будущий год привозит группу американцев с десятью воздушными шарами, – те, мол, фанаты воздухоплавания, за свой счет мотаются по миру, поднимаются на шарах и устраивают воздушные праздники – «фиесты».

Я как услышала это слово, так меня и пригвоздило. Вспомни нашу юность: Хемингуэй как непременный вымпел высшей интеллектуальной лиги. «Фиеста», «Прощай, оружие!»… Тогда еще я не учуяла, что для нас с Саньком это знакомство будет означать: «Прощай, парашют!» То есть не сразу и не так буквально, но… Короче, Вальдис предложил нам принять баллонистов из США в своем городе. Я и пикнуть не успела, как Санёк выдал свое категорическое «да!». Тоже был характер: на обдумывание любых решений – *ноль целых три сотых секунды*.

Вот с этого все началось – встречи, полеты, новые лица, шары, в которые мы оба влюбились сразу и навсегда, потрясающие бесстрашные люди (можешь ты хоть на минуту вообразить: ни парашюта у тебя за спиной, никакой страховки, и несет тебя в плетеном лукошке бог весть куда). А как побочный прибыток, с удивительной скоростью налипал на

уши обиходный английский, так что когда в самом начале девяностых Стив Келли, президент клуба канадских шаровиков, пригласил нас поработать пилотами и инструкторами на международном фестивале воздушных шаров в Сен-Жансюр-Ришелье, в Квебеке, мы с Саньком быстро собрали манатки, полетели-полетели… и улетели.

С тех самых пор желтизна и ало-пунцовая, ржавая листва кленовой Канады, эти августовские цвета восходящей осени, над которыми медленной сказкой поднимаются в небо десятки радужных аэростатов, так и остались цветами моего последнего счастья.

А думать об этом, и перемалывать, и перетряхивать, и молча выть – что было бы, если б мы тогда отказались… думать об этом я перестала только недавно. Столько лет прошло – вот, даже и писать об этом могу.

* * *

…Стоп! Опять меня понесло в другую сторону. Вот человек! Ты задала конкретный вопрос – о Бруклине, о начале, о впечатлениях, о… как это ты назвала? – о «культурном шоке». Не знаю, не знаю… Во всяком случае, поверь, *этот шок* к культуре не имеет никакого отношения. Хотя, конечно, «босяку хорошо в любое время, ему много не нужно».

Так вот, Бруклин и «начало». Началом это было условным: может, когда-нибудь потом расскажу, в каком потре-

панном и нетоварном виде вынес меня прибой на американский континент. Когда-нибудь потом… Слишком многое в моем прошлом надо перебрать и стопочкой сложить.

Сначала, будто в обмороке, сняла комнату в квартире у одной молодой женщины. Просто зашла в ближайшую от метро лавку, какой-нибудь еды купить, увидела на стеклянных дверях чешую объявлений «сдам-сниму», «требуется», «куплю-продам» и выудила из них комнату в квартире – тут, неподалеку. Сразу же позвонила из автомата – с пакетом в руке, с рюкзаком за плечами. Мне отозвался нормальный женский голос, да еще по-русски… И я, после многих месяцев скитаний по канадской глубинке, почувствовала себя приплывшей к берегу – незнакомому, но дружественному. Сейчас думаю, что именно русская речь, давно мною не слышанная, и сыграла со мной коварную шутку. Хотя при чем тут коварство? Не убили же меня, не ограбили. Все путем, а я не ханжа: каждый спасается в этом мире, как может.

Оказалась эта Лора миловидной и деловитой ухоженной телкой лет тридцати пяти, и квартира такая же ухоженная, разве что перебор розово-малиновых тонов и всюду развешаны и наброшены романтические занавеси и шали. Передо мной Лора канала под home attendant, помощницу по хозяйству у стариков. Дело обычное, многие наши бабы начинали с этого свою эмиграцию. И если б я сразу догадалась заглянуть в ее глаза, отзывчивые, как могильная плита, или обратила внимание на странные сапоги-ботфорты, которые она и

в жару не снимала… Но первые месяцы в Нью-Йорке я жила как в тумане, пахала, где придется, на разных подвернувшихся работенках, и потому не сразу врубилась, чем в действительности она зарабатывает на жизнь. А какое мне дело, ты спросишь? Она не докладывалась, клиентов домой не таскала. Но однажды, прикупив на распродаже в русском меховом магазине соболью шубку, покрутилась в ней по натопленной гостиной, с потным блестящим лбом и кропленным капельками носом. И аккуратно повесив обновку в шкаф, погладила шелковистый мех, украдкой скользнув рукой к промежности – таким благодарным интимным жестом: «Спасибо, кормилица!» – пробормотала…

Ну, а вскоре я закончила курсы маникюра-педикюра, поступила на полную ставку в «настоящий американский» салон красоты, нашла отдельную квартиру и свалила от Лоры. В последние месяцы совместной жизни ловила себя на том, что в ванну не ложусь, душ принимаю, стараясь не прислоняться к стенкам, а сиденье унитаза протираю гигиеническими салфетками. Значит, все же ханжа…

* * *

…Погоди-ка. Надо бы описать тебе мой первый «настоящий американский» салон. Уморительное было заведение. Как любила повторять незабвенная теть-Таня, «сочное место». Героиня твоя, небось, тоже не сразу взорлит в поднебе-

сье профессии, надо бы ее в начале пути повозить маленько мордой об асфальтовые будни эмиграции.

Так вот, первый мой хозяин, Эдди, великодушно принял меня на работу сразу после окончания курсов. Взял на должность «шампунь-леди», то есть на мытье волос – салон был, скорее, парикмахерской, а практики-то у меня в то время – кот наплакал. Был этот Эдди югослав, но женат на еврейке и сам горячо обратился: носил кипу, на волосатой груди сиял массивный золотой магендавид, на Хануку Эдди выставлял в окне серебряную ханукию, возжигал субботние свечи – всяко-разно подчеркивал свою новую веру. Жена его, кстати, к тому времени была очень больна, совсем обезножела, и Эдди преданно за ней ухаживал. Был он мастером по прическам, довольно умелым, хотя и без особой фантазии. Жовиальный пончик такой – хохмач, балагур, заводной заяц: седовато-каштановый кок надо лбом, усы щеточкой – очень нравился пожилым леди и так приятно улыбался из-под щеточки усов, красуясь единственной золотой фиксой, от которой улыбка вспыхивала в унисон с магендавидом.

По выходным пел в ночном ресторане – у него был приятный баритон. Не Шаляпин и не Карузо, но песенки исполнял задушевные и популярные. Во время работы, бывало, вдруг воспоет призывно-страстно, и тогда его пение подхватывала Анжела, второй дамский мастер. Вот у Анжелы-то как раз был очень красивый грудной голос, что-то между альтом и меццо-сопрано. И, знаешь, зажигательные дуэты они зака-

тывали, так что клиентки замирали под их руками. Анжеле было под пятьдесят – интересная жгучая женщина, французская армянка… Казалось странным, что она не замужем. А когда по телефону принималась говорить по-французски, тут я и вовсе плавилась от восторга. Все свободное время Анжела проводила на концертах, в ресторанах, в кинотеатрах, в галереях – словом, в тех местах, где надо иметь деньги. Те самые доллары, которых в то время у меня не было совсем. Так что, если изредка Анжела приглашала меня куда-нибудь на концерт, я вежливо отказывалась.

Зато с Эдди таскалась по всему Нью-Йорку! Он-то как раз и открыл мне мир тех самых стариковских садиков.

Впервые довелось сопровождать его куда-то в клуб для пожилых на Брайтоне. «Это будет массированный десант!» – предупредил Эдди, и я восприняла его шутку буквально: готовилась если не к десанту, то к какому-то серьезному испытанию. Когда мы приехали, старики уже сидели полукругом, ждали начала концерта – кто на коляске, кто с палочкой, кто и сам притащился, молодцом-огурцом… Эдди взлетел на сцену, включил караоке и, прижимая обе ладони к магендавиду, запел «Аидише маме»… Затем в ход пошли «Тум-балалайке», какие-то латиноамериканские напевы, «Подмосковные вечера» (почти без акцента), а под конец он исполнил парочку украинских народных песен. Все это перемежал своими байками, и старики смеялись, подхватывали мело-

дии, хлопали и дружно скандировали, когда Эдди заставлял их повторять какие-то фразы.

Потом все старушки перешли в мои руки, и это был-таки массированный десант: я делала макияж всем желающим. Ко мне выстроилась очередь. Вот это был праздник! Я выщипывала и удлиняла щеточкой порушенные брови, подкрашивала редкие белесые реснички, оттеняла морщинистые щечки… Они похорошели, повеселели… выхватывали друг у друга зеркальце, чтобы полюбоваться на себя еще и еще… И провожали нас с такой любовью, с таким восторгом! Один старик, лет за восемьдесят, ущипнул меня за задницу и шепнул: «Почему бы тебе не заглянуть ко мне однажды?» Ты догадываешься, с какой нежностью я ему улыбнулась? Я вспомнила папу и его единственную руку *вечно при деле*, когда в обозримом пространстве возникала хоть одна женская задница.

А недели через две мне позвонила руководительница этого клуба и предложила подработку: *бьюти-дейз* это называлось. И дважды в неделю я с огромным энтузиазмом выщипывала старухам брови, снимала усы, наводила красоту на ветхие щечки… И все мы были счастливы, тем более что мне прилично платили!

Да, а с самим салоном произошла романтичная история: Эдди его прогулял, просвистел или, как еще говорят здесь, «профакал». Преданный жене религиозный иудей, он позна-

комился в ресторане с замужней женщиной моложе его лет на двадцать и рехнулся на этой серой мышке… На мой вкус, лучше бы он выбрал Анжелу. Мышка являлась к Эдди на работу чуть не каждый день, он запирался с ней в подсобке, и там что-то падало, колотилось и завывало, словно бедный наш Эдди сражался с легионом безумных полтергейстов.

Раза два я звала его к телефону, деликатно стучала в хлипкую дверь, и минут через пять дверь распахивалась: взъерошенный потный Эдди стоял на пороге, судорожно заправляя рубашку в штаны, кипа валялась на полу, а магендавид был на спине, уже не отзываясь золотой фиксе святым сиянием.

Эта нежданная поздняя любовь и погубила нашего Эдди: он отвлекался, витал в облаках, то и дело пропадал в подсобке, захлебываясь там в мощном натиске страсти… Клиентки сначала преданно терпели, потом стали роптать и, наконец, одна за другой покинули тонущий корабль. А через полгода Эдди объявил себя банкротом.

Красавица Анжела вскоре вышла замуж за приятного пожилого армянина, с которым познакомилась на марше против турецкого геноцида армян, – это был ее первый брак, и она выглядела такой счастливой и такой, к моему удивлению, молодой…

Ну, а я нашла работу в другом, уже действительно *настоящем* и очень профессиональном косметическом салоне, с которого началась моя *настоящая* американская жизнь.

* * *

…Моя нынешняя квартира, уже третья за эти двадцать пять лет, вполне меня устраивает. Здесь это называют «ванбедрум»: просторная гостиная с двумя большими окнами; приличная – метров аж пятнадцать – спальня; кухня вот крошечная, просто тазик для белья, даже вспоминается табуретка «слоник» из парикмахерского детства, зато роскошная двенадцатиметровая прихожая, вместившая и гардероб, и холодильник, и кушетку – на случай приблудившихся гостей. Мне даже удалось втиснуть туда книжный шкаф – «юзаный», но «с характером, с раньшего времени»: с дверцами, застекленными таинственным зеленоватым стеклом в частых свинцовых переплетах. Шкаф этот собиралась выкинуть соседка пани Мозалевска, я же, как увидела эти переплеты и бронзовые ручки-гирьки, вцепилась в него и не пустила, так что грузчики порадовались: не пришлось стаскивать его вниз, подвинули только в несколько рывков по лестничной клетке.

Дому нашему почти сто лет. Шестиэтажный, из красного кирпича, огромный-квадратный, жилой-пожилой, последний дом перед океаном. От основного Брайтона отделен проспектом Оушен-парквей, одной из крупных магистралей Бруклина, и упирается в такой симпатичный старый парчок, за которым – полоса бесконечного горизонта: то синего, то серого, то искристого, то маслянисто-черного. Это океан.

Это – то, что я вижу из своих окон. А конкретно, вижу я старинную вышку и знаменитый «бордвок»: деревянную набережную с заносами песка и старыми кружевными фонарями, с зелеными металлическими бочками для мусора, с уходящими в воду нагромождениями черных камней волнореза… Совсем неподалеку – легендарный Кони-Айленд, приморский парк с аттракционами – помнишь веселую песенку сестер Бэрри: «Кони-Айленд, Кони-Айленд…»? Парк недавно восстановили, аттракционы отремонтировали и запустили, колесо обозрения, как гигантская мельница, перемалывает в воздухе зыбкую музыку, и она кружит и тает, и вновь кружит, приперченная криками чаек…

Могла ли я представить, что когда-нибудь все это – гремучий сабвей с его железными ступенями, «Гамбринус», «Визави» и ресторан «Татьяна», веселые аттракционы, карусель и колесо обозрения – будут просто окрестностями моего жилья, просто моим районом?.. И знаешь, мне здесь уютно и хорошо; отдерну утром штору, открою окно – «Бабий ветер», дурацкая привычка к счастью…

Здесь практически не осталось коренных американцев, которые много лет жили себе и жили в окрестных домах за мизерные деньги. Они просто тихо вымерли. Их сменили русские евреи, а тех сегодня тихо вытесняют узбеки. Лифты во всех домах относительно новые, лет по двадцать. Но выглядят устало и пахнут русской едой: щами, гречневой кашей, мясом и жареной картошкой.

Главное, отсюда три остановки автобусом до Кони-Айленд-авеню, где, собственно, и обретается…

…А ведь неплохо описать ее, нашу знаменитую Кони-Айленд-авеню, которую не особо знакомые с английским советские эмигранты, безбожно коверкая, называли «Сони-Исланд-авеню», на свой лад прочитывая английское название.

Она описана в сотне разных романов, и русских, и нерусских, так что будь с ней поаккуратней, не киксани. Эта длинная, широкая и, в общем-то, унылая кишка совсем не походит на манхэттенские авеню с небоскребами. Однажды я наблюдала тут ссору пожилой русской пары. Стояли на углу, у обоих в лицах какое-то остервенелое отчаяние. Чуть не до драки у них дошло. И мужик вдруг плюнул, перебежал на противоположный тротуар и быстро пошел прочь, а жена вслед ему: «Ничего, ничего! Не улица Горького, я тебе и туда скажу!» Я подумала, что она безнадежно права: улица Горького, ныне Тверская, по сравнению с этой колбасой – просто невероятной стати и красоты проспект.

По вывескам заведений, здесь расположенных, можно писать историю советской эмиграции в США. Именно на Кони-Айленд-авеню сосредоточены до сих пор «русские» бизнесы: рестораны, магазины, ателье и салоны, синагоги, школы, кар-сервисы, гаражи, брачные агентства и похоронные дома. Всю географию СССР в прямом и переносном смысле ты помянешь именно на Кони-Айленд-авеню: «Распутин» и

«Чинар», «Чайка» и «Саяны», «Беловежская пуща», «Каспий» и «Арарат». Все это кипит каждое по-своему, колготится, кричит на русском, а теперь уже немного и на иврите, фарси, армянском, турецком – кварталы вдоль бесконечного этого караванного пути облюбовали не только русские. Есть и свои китайские кварталы, и хасидские, и узбекские… Авеню очень длинная, понимаешь, ее хватало и хватает на всех. Упирается она в Брайтон-Бич, так что все рядом и все удобно.

Кстати, там же расположен – между русской химчисткой и ливанской шварменной – наш массажный салон, место моей работы…

* * *

…Ага, прикатили.

Ты спрашивала, как начинается мой рабочий день.

Я прихожу первой (у меня свой ключ, я лицо доверенное), открываю дверь, отключаю сигнализацию, выношу на улицу большой металлический щит с нашей рекламой для прохожих, привязываю его на всякий случай, чтобы ветром не унесло. Затем включаю радио, уже настроенное на волну «Фил гуд мьюзик»: легкая музыка 70–80-х, очень помогает утро пережить. (Эти сладкие Синатра, Дин Мартин, Дин Рид, опять же, – помнишь? «Элизабет, Элизабет!») Нус, облачаюсь в халат и минут пятнадцать привычно вожусь

под какую-нибудь песню в своем кабинете, маниакально протирая антибактериальными салфетками ручку, карандаш, калькулятор – все, к чему мои руки прикоснутся за день. Не осуждай меня за это. За годы работы с людьми, с их телами и лицами, с их страстями и интригами, подавленными мыслями и тайными желаниями, написанными у них на лбах, я стала брезгливой, как персонаж психбольницы по кличке Бактерия…

И знаешь, что я тебе скажу? Все они переносчики бактерий, самых разных. Только там, в вышине, отряхнувшись от всех своих фобий, можно лететь с широко открытыми глазами, глотая разреженный воздух широко открытым ртом…

…И только обеззаразив и обезопасив вокруг себя пространство земное, снимаю все *мессэджи* с телефона, перезваниваю клиентам, назначаю очереди. Между делом принимаю звонки, продаю продукцию, если кто из покупателей зашел. А еще возжигаю идиотские свечки и разные специальные благовония, запах которых не выношу, – я с юности промыта таким небесным озоном, что вся эта благоуханная чушь только раздражает обоняние. Но все же салон-то наш индийский (моя начальница Наргис родом из Индии), так что специфика, стиль, «восточный колорит» и тому подобная дребедень якобы должны отличать нас от прочих местных заведений. (Нашей corporation принадлежат двадцать пять салонов, разбросанных по Америке и Канаде. Они носят разные имена, но подчиняются головному офису в То-

ронто. Далековато, но очень кстати: если задрыге-клиенту приходит в голову жаловаться, он должен писать или звонить далекому начальству.)

В рекламках нашего салона, которые мы раздаем всем желающим и нежелающим, есть обтекаемая фраза насчет тибетских технологий продления молодости. Это – мой личный вклад в процветающий бизнес… тряхнула журналистской стариной. Но, по крайней мере, мой слух и слух наших клиентов не мучают индийские песни – в этом мне удалось Наргис убедить…

А ведь все мое детство в Киеве прошло под мелодии индийских песен! Мы жили напротив клуба Молкомбината номер два. Летними вечерами из раскрытых окон зала пенились-текли витиеватые мелодии, неслись страстные диалоги… Это сейчас понятно, что фильмы дублировали наши актеры, а тогда мы с Лидкой, вечной подружкой, просто влюблялись в голоса Лолиты Торрес, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор (про мужиков писать не стану – расплачусь). Так вот, чуть не каждую неделю по просьбам трудящихся у нас крутили «Бродягу», и то самое «бродяга-я-а-а-а», что мурлыкала вся страна, и еще парочка подобных, слащаво мяукающих мелодий, отравили мне все индийское на всю жизнь. (Помнишь известный анекдот про индийский порнофильм, где по сюжету происходит все, как и в других подобных лен-

тах, только с песнями и танцами?)

Впрочем, это не касалось индийских имен, которым мое детское воображение придавало полусказочное, полуджунглевое обаяние. Ибо в нашем зоопарке, куда мой помешанный на зверье папа водил меня каждое воскресенье, жили два слоненка, подаренные Джавахарлалом Неру. Звали их Рави и Шаши, вот только не помню, кто из них был девочкой. Кажется, Шаши.

Начальница моя Наргис – пожилая красивая женщина с индийским сафьяновым лицом, с тяжелым подбородком и оливковыми глазами в коричневатых белках; с вечно высоким давлением, но всегда со свежим маникюром на изумительного изящества суховатых пальцах. Она заявляется после двенадцати. Если нет клиента, мы варим кофе, перекусываем и болтаем – ни о чем: бизнес, сплетни, новости ее огромного индийского семейства… Есть еще ее племянница Васанта, о ней чуть позже. (Кстати, индийские семьи здесь, в наших краях, довольно редки, у моей Наргис есть трогательная история о том, как она перебралась сюда из Чикаго, но об этом не сейчас, я помню: ты просила конкретно *о рабочем месте*.)

Где-то в это время уже начинает идти клиент. Я стараюсь слишком рано людей не *буковать*, если только нет срочной необходимости. У меня личный кабинет, где я произвожу разного рода процедуры или – запомни и используй это

слово – *сервисы*: массаж, брови, депиляция…

…ах да, в последнем письме ты просила подробно описать обстановку и инструменты. Приступим.

Центр мироздания любого салона – стол массажный. Он складной, собирается в специальный футляр и легко перевозится – многие массажисты подрабатывают на дому у клиента. Кроме стола есть комод или полки с полотенцами и халатами, тумбочка, заставленная пузырьками и тюбиками с массажным маслом, кремом, пилингом; есть, скорее всего, морские камни – их нагреваешь в микровейке и выкладываешь на чьей-нибудь покорной спине, наваливая немалый груз. Многим это нравится – может, в прошлой жизни они были римскими рабами или китайскими кули? Наконец, есть горячие полотенца, чтобы клиент, не дай бог, не простудил задницу.

Косметический кабинет более разнообразен. Там есть куча всякой всячины: кровать с подогревом, на которой при помощи пульта можно творить с тушкой клиента чудеса кулинарии – поднимать и опускать голову и ноги, вертеть клиента на вертеле… Само собой, есть и раковина с водой, и подогреватель полотенец, ну и святая святых – полка с Ее Величеством Продукцией: кремы, клинзеры, тоники, серум, пилинги, ваточки, марлечки, иголочки, ножнички, спонжики и еще пятнадцать разновидностей хрена моржового в очаровательной упаковке.

Продукция стоит отдельно призывными рядами, на видном месте, выпятив наклейки, как гвардейцы – ордена; ее надо впендюривать размякшему после сеанса клиенту, и чем больше, чем дороже и бессмысленней, тем лучше.

В зависимости от уровня салона, в косметическом кабинете может быть различная современная техника: лазер, микродермоабразивная (мой вольный перевод) машина и обязательный стимер (пар), не говоря уж о лампе с увеличительным стеклом. Самый страшный и привязчивый сон в моей жизни – бескрайняя равнина щеки, унылая прерия из расширенных сальных пор пожилой дряблой кожи…

Ты спрашивала о самой эффективной процедуре для *фейса?* Гильотина. Но это – последняя процедура. А до нее надо смыть весь мейкап, то есть обобрать с лица губки, щечки, реснички, смыть их очищающим молочком – *клинзером*. Помыть лицо и выложить на него горячее полотенце, как преддверие блаженства. Горячее влажное полотенце – это экспозиция в спектакле: без нее ни черта не разберешь и не прочувствуешь в действии пьесы. После чего следует пилинг – отдраивание физиономии любыми средствами, лучшее из которых – миндальный или абрикосовый «песочек». Это похоже на то, как в селах на берегу реки бабы чистят песком кастрюли и котелки, очень действенно. Смываем песочек и – массаж под дулом паровой машины. Клиент это любит, я тоже: похлопываю, поглаживаю, пощипываю, нежу и лелею:

клиент в раю. На этом этапе он уже твой с потрохами. Он предан твоим рукам до последней жилочки, готов жениться или оставить наследство. Затем выключаю паровую машину и выволакиваю грешника из рая: начинаю чистку лица. Какое-то время он или она укоризненно постанывает под моими беспощадными руками, но в конце экзекуции получает поощрение: вновь горячее полотенце на физиономию и главное, маску. Это апогей процедуры – нирвана, растворение во облацех… Но – хорошего понемножку, и я снимаю маску, вбиваю-втираю финальный крем; и вновь похлопываю, поглаживаю, нежу и лелею… Поднимаю размякшего клиента и на спину – горячее полотенце. Почему – на спину? Да разогреть его перед оплатой, растопить его жестокосердое нутро. Это – занавес. А теперь выходим на поклоны, принимаем аплодисменты и очень приветствуем *типы*.

Что еще? Да: на отдельном столике или тумбочке у меня стоит вакс для удаления волос. Я понимаю: в твоем воображении сразу возникает черная и вонючая сапожная вакса времен нашего детства и какой-нибудь айсор Федька, двумя щетками наяривавший джаз над остроносой туфлей местного стиляги…

Нет, здешнему ваксу (клейкой массе, похожей на желтую смолу) можно пропеть осанну, сложить о нем поэму – только неохота, так что я кратко: есть разного вида вакс для разных типов кожи. Он продается в металлических круглых контей-

нерах и подогревается в специальных подогревателях. Температура регулируется, бывают одиночные и парные подогреватели (у меня парный). На этом заветном столике присутствуют также масло, пудра, тканая лента, ножницы, пинцет, перекись водорода, крем и деревянные палочки. Хорошо, если столик на колесах и можно придвинуть его поближе к месту священнодействия: вакс может капнуть на пол или, не дай бог, на одежду клиента. С ваксом вообще непросто: работа тонкая, можно сказать, творческая, вдохновенная… чуть ли не вышивание крестиком. Неумеха может обжечь клиента или дернуть так, что потом две недели на коже будут тлеть синяки, а это чревато, не к ночи будь помянуты, судебными исками. В некоторых салонах для процедуры отведена особая комната, что правильно: негоже в раю косметического кабинета грязь разводить…

Но сама-то я люблю, чтобы все у меня было под рукой.

Если кто-то *натаскан на вакс*, то есть умеет быстро и безболезненно удалять волосы – это, как говорила теть-Таня, «хороший кусок хлеба с маслом». Тут важна молниеносность рывка, правильное натяжение кожи и угол, под каким ты делаешь этот рывок.

Лично я – виртуоз удаления волос с разных частей нашего бренного тела.

Да-с, так и знай, ко мне клиент за месяц записывается. Ко мне дозваниваются через знакомых, ко мне организуют протекцию, в мои руки плывут усы и брови, волосатые гру-

ди и мохнатые ноги. И горит надо всем негасимым жаром «звезда любви приветная», мохнатая мать наша… прости и поищи какой-нибудь эвфемизм: в конце концов, у каждого своя рифма на слово «звезда». Только одно скажу: столько лобков, сколько видела я за последние лет пять, не видал ни один матерый порнофотограф, ни записной сексуальный маньяк, ни гинеколог, ни уролог, ни мойщик трупов в городском морге.

Кстати… В одном из твоих писем проскользнуло что-то вроде: кому, мол, интересны наши увядшие прелести… Не скажи! Они еще интересны, в первую очередь – нам. И ухаживать за ними следует не менее усердно и трепетно, чем за бывалыми нашими физиономиями, дабы достичь, как говорит хозяйка моя Наргис, «гармонии тела и духа». Ты сидишь за своим письменным столом, создаешь духовные ценности и ничего не ведаешь о ценностях иных. А я вижу каждый день женщин, перешагнувших рубеж сексуальной активности. Они не сдаются! Да, наша любимая грядка, как и голова, становится седой и лысой. Но лучше сохраняет память. И фантазии. Не сбрасывай со счетов наш самый дорогой орган! Я даже подумываю организовать анонимное общество «Старость и Звезда». Записывайся. Будешь второй.

И жаль, если шокирую тебя своим честно заработанным цинизмом. Когда мой папа пересыпал разговор словцом-другим из своей фронтовой молодости, он добавлял: «Пардон,

из песни словечка не выкинешь».

Так о ваксе. Недавно я в отпуске была, и одна моя постоянная клиентка вынуждена была обратиться к другому косметологу. Та случайно капнула ей на свитер ваксом – так, чепуха, тут же специальным средством и оттерла; тысяча извинений, бесплатная, разумеется, химчистка, бесплатный сеанс и скидка на следующие *сервисы*.

Но дракон остался неумолим: клиентка строчила жалобы в дирекцию нашей corporation, рассказывала о своей беде каждому встречному, а когда я вернулась, бросилась мне на грудь, будто я только что выловила ее ребенка из бушующего океана. И она отнюдь не исключение. Здесь клиент не просто всегда прав, за него идет борьба: клиента обольщают, ублажают, лелеют, выслушивают его идиотские рассуждения о политике, морали и кинематографе; ему поддакивают, помнят про молочные зубы его детей и внучат, интересуются простатой старых мудаков-мужей; навстречу клиенту – всегда! – обращена улыбка… Короче, мы, удалые работники пара и вакса, куда бóльшие актеры, нежели все звезды Голливуда вместе взятые…

* * *

…Ха! Перечитала последнее свое письмо и вдруг вспомнила кое-что про вакс. Просто обязана отвлечься и расска-

зать. Ты не пожалеешь: очаровательный эпизод в библейских декорациях Средиземноморья. Авось пригодится.

О, Израиль! Вечный *отпустинародмой*, Святая земля, исток и корень, вольный мах чаячьих крыл, крики счастливых детей и разнузданные вопли хитрожопых торговцев… Обетованный клочок нашей мечты о человеческом достоинстве, заповеданная гордость сотен гонимых поколений… О, Израиль, Израиль! – вот где на клиента срали победоносно, причем в любой сфере обслуживания.

Это был мой первый приезд, знаешь, тот самый зов крови, поиск корней, припарка на душу; мы с вечной моей межконтинентальной подругой Лидкой остановились в отеле в Нетании. Шикарный отель, шикарная набережная, шикарное море, одуряющий зной.

Ну, и Лидка, любительница классической музыки, в первый же день купила в кассе на набережной билеты на концерт израильского филармонического оркестра: симфония Брамса и концерт Шостаковича, и какое-то там знаменитое сопрано с баритоном в одном флаконе… Все – под управлением самого Зубина Меты. Словом, ликующий аккорд на фоне средиземного заката.

Мы сходили на пляж, пообедали, прогулялись вдоль ларьков и киосков. Все очень мило, вокруг – подсознательно знакомые физиономии, расхаживать можно в чем мать родила, плюс абсолютно домашнее ощущение, будто все встречные

женщины – это теть-Таня. До концерта еще оставалось навалом времени, и густобровая моя Лидка, наш «Бровеносец», вдруг решила наведаться в косметический салон, который приметила в лобби нашего отеля.

– Отваксаю брови, пожалуй, – сказала она.

– А я посмотрю, как здесь это делают, – подхватила я.

Салон у них был маленький: закуток с дарами Мертвого моря на стеклянных полках (цены убойные, победно-патриотические), а за стойкой – полуголая приемщица, кассир и продавец вышеупомянутого товара в одном лице. Дива из наших: громко говорила по телефону по-русски (небогатое меню из пяти восклицаний, густо пересыпанное словечком «бесэдэр»). Краем глаза она послеживала за мной, дабы я чего не сперла из их даров. В глубине за ее спиной в тусклом свете виднелся коридорчик, куда выходили три двери: массажный кабинет, косметический кабинет и офис.

Лидка зашла в косметический кабинет *ваксать* брови, я осталась ждать ее в холле. Сидела в пластиковом кресле, листая какой-то местный русский журнальчик: то ли «Анна», то ли «Лиза», то ли «Таня». Нет, Таню я бы запомнила. Прошло минут пять… и вдруг в блаженной нирване грянул леденящий Лидкин визг.

Мы с приемщицей, отталкивая друг друга, ринулись в кабинет, распахнули дверь и тоже заорали: на кушетке лежала моя Лидка, лицо ее, голова и даже подушка были покрыты красно-коричневой жидкостью… Оказалось, девоч-

ка-косметолог решила поднести вакс поближе к лицу, вынула контейнер из обогревателя… ну, и не удержала. Весь вакс – к счастью, не очень горячий – вылился на голову несчастной моей подруги… Но все это выяснилось чуть позже, а пока у девочки-косметолога отнялись язык, руки и мозги, и она, не сводя растерянных глаз с вопящей Лиды, все твердила одно и то же: «Так вы не дадите мне чаевых!»

Лидка вопила и не могла остановиться; визжала, как резаная свинья, а ведь это человек ангельского терпения и героического стоицизма – да ты ее знаешь! Волосы у нее слиплись, и, как я прикинула, отмывать их предстояло недели полторы. Ни о каком концерте, разумеется, речи уже не шло.

Пока пострадавшую оттирали и отпаривали, я пошла к директору этой халабуды – жаловаться и требовать компенсации. В Америке, понимаешь ли, это непререкаемый закон, и мне интересно было, как он работает в здешних райских кущах. Директор салона, она же его владелица, тоже оказалась из наших. Смотрела на меня спокойно-изучающе, с курортной такой ленцой. Да, она слышала этот непотребный визг клиентки – удивительно, как люди не умеют себя вести! Поднять задницу со своего кресла – нет, не сочла нужным. Я ей про Америку, про их безрукого косметолога, про то, что в Америке, если б такое произошло, мастера судили бы, лишили *лайсенса*, а клиент до конца своих дней обслуживался бесплатно. Потому что в Америке…

Она продолжала невозмутимо созерцать мою пылкую же-

стикуляцию. Потом тихо так говорит:

– Задолбали вы меня своей Америкой. Ладно, так не дадите чаевых.

Я захохотала… и напрасно: за сервис пришлось заплатить, нас бы просто не выпустили. И извинений никаких, и никакой долбаной компенсации, еле ноги унесли. Правда, Лидке выдали шапочку для душа, чтоб волосы прикрыла.

И затем в номере еще часа два мы ее оттирали, намыливали и опять смывали, и это библейское чудо пророка Моисея, что она не облысела! Я взглянула на нее после процедуры: мать честная! Одну бровь успели сделать в ниточку, а вторая так и осталась лохматой, как у актера Этуша в роли Карабаса.

Однако это не стало поводом к возвращению в их салон. Доделали в Америке…

* * *

…Черт возьми! Перечисляя процедуры и инструменты, попутно засоряя эфир своими дурацкими «историями за жизнь», я про главное забыла: про бикини. А ведь это может стать гвоздем твоей повести. Непростительная оплошность! Давай, высекай на скрижалях.

Для процедуры «бикини» необходимы: теплый вакс, хлопчатобумажная ткань, нарезанная узкими лентами, деревянные плоские палочки (спачулы), детская присыпка или

тальк, масло и крем-алоэ или гель. Кушетка должна быть плоской. Каждый мастер проделывает это по-своему, я тоже.

Итак: Бразильское Бикини (каждое слово произносится с большой буквы): не оставляем ни волоска, ни колоска, ни спереди, ни сзади. Французское бикини: оставляем две тонкие вертикальные полоски. Обычное бикини: внутренняя часть бедер, пах, линия трусов или купальника. Рутинная процедура для бабушек, отставных гувернанток и старых дев перед отпуском; вид приличный и скромный, позволяет культурно явиться на любой пляж и в любой бассейн.

А вот тебе и бескомпромиссное описание техники: ставлю объект на четыре кости, одной рукой он (она) оттягивает ягодицу, помогая мне, пока я сзади убираю урожай. (Ты не представляешь, какой волосатой может оказаться заурядная человеческая жопа, на которую в штанах ты бы и внимания не обратила!) Затем укладываю клиента на спину, ноги поджать и врозь – поза лягушки. Маленькими полосками снизу вверх убираем все волосы, смазываем кожу маслом, удаляя оставшийся вакс, затем – пудра и крем. Последние вросшие волосы вытягиваем острым пинцетом.

Если придется тебе упомянуть о расценках и затратах времени на каждую процедуру, то вот они: обычное бикини – 5–10 минут, 40 долларов. Французское бикини – 15 минут, 50 долларов. Бразильское бикини – 30 минут возни и сомнительного удовольствия лицезреть потаенные впадинки и выступы бренного пупырчатого тела, зато – 60 долларов, а за

эти деньги я готова смотреть на что угодно, в упор, не мигая! («Их бин фон айзен!», я из железа, как вопила когда-то Лидкина бабушка Изольда Миллер, потрясая кулаками перед своей неподкупной белой стеной.)

В заключение добавлю, что в китайско-корейских салонах цены гораздо ниже…

3

…Все подбираюсь рассказать тебе о Мэри и не знаю, с какого конца подступиться. Странное дело: мне почему-то не хочется, чтобы эта история тебя повеселила, хотя она и смешная до упаду. Все в ней смешно, в этой истории, смешно до чертиков…

В общем, когда в прошлом году я перешла работать в этот новый салон недалеко от дома, меня предупредили, что здесь время от времени появляется странный такой мужик, который называет себя *Мэри*. Я только плечами пожала: мало ли кого заносит на наши *лужайки вечной молодости и гендерной вариативности*.

И однажды он появился.

Я сидела одна на фронт-деске – стойке, за которой мы отвечаем на телефонные звонки и назначаем очереди, – жевала сэндвич с яйцом-тунцом и листала журнальчик: время обеденное, никого нет.

Вошел, стеснительно пробрался к стойке и говорит:

– Hi, my name is Mary…

Я подняла голову и чуть язык вместе с откушенным тунцом не проглотила. Так, думаю, спокойно, парень, все нормально, ты – Мэри, я – Джон. Натянула профессиональную улыбочку, как здесь полагается, и спрашиваю свое традиционное и привычное, как мыло в туалете, *могу-ли-я-чем-помочь*, про себя уже понимая, что помочь ему не сможет даже опытный психиатр.

На первый взгляд – мужик как мужик, вроде и представительный, лет этак сорока: высокий, волнистые темные волосы с небольшой проседью, то, что называется «перец с солью», очки в массивной оправе, серые глаза чуть навыкате и крупный нос – красноватый, как бывает, когда парняга закладывает за воротник или, скажем, в разгар длительного насморка. Короче, нечто вроде укрупненного Вуди Аллена: такой мудаковатый симпатяга в сильно потрепанных джинсах. Но вот огромные, самоварного золота клипсы в ушах, и – поверх мужского свитера – бусы в три ряда, примерно той же стоимости, доллара два…

Вот такой незаурядный чувак предстал передо мной.

Явился он, оказывается, на «фэйшл», и я сразу успокоилась: мне один черт, чью морду мять, я профессионал, человек кирзовый, без сантиментов. Велела снять все побрякушки, уложила его на кушетку, начала процедуру…

Скажу тебе откровенно: вообще-то, нам не к лицу осуж-

дать или там перебирать клиентов, мы в своем отточенном мастерстве должны быть покладисты и бесстрастны. Но эта, блин, офелия, с самого начала вызвала у меня какое-то… брезгливое отторжение. Понимаешь, я живу здесь почти четверть века, а это срок почище лагерного; необратимые процессы в мозгу, конечно, происходят, ибо бытие, как ни крути, наше сознание еще как обминает. Но все же насчет разных гендерных затей и прочих карнавальных забавок у нас, у советских, крепкая закваска и собственная железобетонная камасутра. Мы – люди, просмоленные комсомолом, и жить посреди гостеприимной чужбины с ее декларативной свободой морали предпочитаем, так сказать, старым казачьим способом.

К тому же, я терпеть не могу, когда во время процедуры мужики издают томные стоны. Лежи и молчи, козел, или храпи, черт с тобой, но не изображай здесь неземное блаженство, когда я на твоей морде прыщи давлю.

А этот придурок еще и выглядел совершенно запущенным: из тех, знаешь, что совсем не следят за собой. У него были крупные беспокойные руки, которыми он инстинктивно шарил в районе груди – как женщина, случайно застигнутая в момент, когда она лифчик натягивает. И время от времени он так панически вздрагивал, будто очнулся в подземке, и первая мысль: ах, станцию пропустил! «Боже, где я, кто это со мной?!»

И говорил, не умолкая, раздражая меня идиотскими во-

просами: женственно ли он выглядит? Мне хотелось, как говорила покойная теть-Таня, «напхать ему по самые помидоры», прямо сказать: какая ты, к черту, женщина, ты – хрен моржовый! ты в зеркало на себя давно смотрел?

Но – клиент, ваше святейшество! – я культурненько так, можно сказать, виртуозно уходила от ответа, старалась перевести разговор в другую плоскость – чем, мол, занимаешься, Мэри, где работаешь? Хотя понимала, конечно: нигде он не работает, кому и на что он такой сдался. Но он вдохновенно принялся заливать мне о каких-то своих *рецензиях в ревью* – по театральной, кажется, или киношной, вроде бы, теме, и продекламировал два своих стихотворения, таких же диких, как его клипсы. Я вежливо и уважительно поддакивала, раза три произнесла прохладное: «О?!» Интересно, думаю, а кто ему денежки на подобные сервисы выдает – мамочка? И как она себя чувствует при виде этих бус на крепкой мужской вые?

…А он, этот самый *Мэри*, разулыбался, разболтался… так что дважды я велела ему помолчать. Тогда, вытаращив глаза, он прижимал к губам указательный палец. Спросил, как меня зовут, и сказал:

– Я буду называть тебя Гали́н… тебе так нравится?

Господи, да называй ты, как хочешь, главное, заплати за сервис и чаевые добавь…

После процедуры пылко благодарил, прижимая к груди лапищи, сцепленные молитвенно, топтался вокруг меня и за-

искивающе улыбался. Видно было, не хотел уходить. Нашел родственную душу. Мялся, мялся и вдруг попросил накрасить его.

Я даже растерялась:

– Накрасить? В смысле… сделать макияж?

– Да-да! – воскликнул он. – Пожалуйста, настоящий макияж для настоящей леди. *Пли-и-из, Галин, май дарлинг…*

Ну, что ты будешь делать… Я увела его в уголок за занавеской, чтобы не пугать клиентов, усадила в кресло и минут двадцать разрисовывала, как бабу. Стоило посмотреть на это лицо, благоговейно запрокинутое под моими руками. На лицо, превращенное в нелепую маску. Рехнуться можно! Слышала бы ты этот разговор:

– И помаду… поярче, погорячее, а?

– Нет, это слишком вульгарно, Мэри.

– Ну, пожалуйста! *Галин, май дарлинг…*

– Господи, ты что, на карнавал собрался? Ты же такой утонченный… женщина…

И потом крутился минут пять перед зеркалом, украдкой репетировал разные выражения лица: то улыбался, то хмурил подведенные брови, то загадочно поводил своим длинным припудренным носом… Умора, да и только, я чуть не разревелась от жалости.

И когда вышел и проходил мимо огромного окна нашего салона, остановился и еще с минуту подглядывал за мной, будто проверяя мою реакцию на весь этот цирк. Да нет, не

то, не так, все гораздо сложнее: лицо его напоминало партитуру какой-то сложной современной музыки – и гротескной, и трагической, и в чем-то издевательской… и молящей.

А я – ни гу-гу: стояла с нейтральным лицом у стойки. Листала журнальчик…

* * *

…Я так и думала, что ты заинтересуешься. Уж больно тема забористая, обоюдоострая…

Отвечая на твой вопрос, хочу кое-что уточнить. Не трансвестит, а транссексуал. Трансвеститы – это такой клубный планктон, где они в перьях-блестках-париках, а порой и в чем мать родила, пьют, танцуют, марихуанку пользуют – короче, расслабляются. И туда не только гомо-, но и гетеросексуалы наведываются: вот так скрутило мозги, что нравится мужику переодеваться в женщину, красить губы, ногти, парики трижды за вечер менять… Вечный такой Хэллоуин для испорченных детей. Ибо весело там, легко и свободно, по ту сторону морали, этой иссохшей подыхающей твари, что душит нас всю сознательную жизнь. Ты себе вообразить не можешь, какие неожиданные провалы в бессознательное сулит такая внезапная свобода.

Кроме того, есть и профессионалы.

К нам однажды явился клиент на сервис – неприметный

такой, рыжеватый, с лысинкой, ирландского типа мужичок. Записался к Наргис *сделать брови*, просил «потоньше, поизящнее». Та сделала, конечно, как просил, у нас не принято в душу лезть – зачем да почему, но он сам вдруг достал телефон и принялся ей что-то в нем демонстрировать. Наргис ахнула, закачала головой, тут и другие девочки налетели. Восхищаются, языками цокают. Я спросила – чему это они так радуются. Он развернулся и показал мне фото какой-то очень красивой женщины с великолепным стильным макияжем.

– О, – заметила я, – какая эффектная дама! Это ваша жена?

А он мне, с таким лукавым удовольствием:

– Нет, это я.

Ну, я чуть не присела. На фотографии красовалась роскошная фурия. А тут он – неприметный мужчинка с лысиной, три рубля ведро…

Выяснилось, что работает он в ночном клубе *имперсонатором* – кажется, так это называется. Зарабатывает этим на жизнь, на семью – у него ведь четверо детей, и прекрасных детей (последовала презентация фотографий каждого мальца); надо дать им образование и достойную жизнь. *Достойную жизнь*, понимаешь?

Да: он триумфально проходил кастинг в знаменитых ночных клубах Лас-Вегаса, Сан-Франциско и Голливуда, всегда выбирая лучшее место работы, лучшие, самые престижные

клубы. Так что он прекрасно зарабатывает, и *ему не стыдно будет в старости смотреть в глаза своим детям*.

* * *

Я была в таком клубе однажды, «Lips» он назывался, то есть «Губы». Лидка затащила на свой день рождения: пойдем, говорит, поглазеем, это ж прямо цирк. А у тебя такая профессия, говорит, тебе надо знать, что к чему. Ну, я и пошла. Нас было человек пять, все девочки за сорок, польстившиеся на «программу с перчиком». И в зале в основном сидели девочки разных возрастов, ибо «актрисами» в этом заведении были темнокожие мужики, переодетые в баб. Не слишком удачный, мягко говоря, получился вечерок, ибо, пробираясь в полутьме к столику, Лидка зацепилась своей ножищей за чей-то стул и растянулась во весь рост, после чего весь вечер два суетливых пацана-официанта приносили и прикладывали к ее ноге лед… Но зал был настроен на праздник и весь стонал и сотрясался от эмоций.

Там, понимаешь, вся фишка была в том, что это вечер именинниц, за каждым столом люди праздновали. А мы так вообще сидели в первом ряду столов, в эпицентре, можно сказать, небывалого веселья. Представь себе такой вот грандиозный китч: зеркала в золоченых помпезных рамах, красные ковры и занавеси, красные лампы на столах. И представь «актрис»: все огромные, толстомясые, с невероятны-

ми, развешанными под шеей сиськами, с какими-то пугающе накачанными или подставными окороками, так что их заведение стоило бы назвать не «Губы», а «Задницы». И макияж устрашающий: все лицо забетонировано пудрой-румянами, накладные ресницы, как опахала из тыщи-одной ночи, дикие перьевые веера и султаны на головах… А наряды какие-то… афро-цыганские: цепи, бижутерия, как золотая конская сбруя, кольца-браслеты из магазина «Все по доллару»…

Из белых были только два мужика предпенсионного возраста, тоже переодетые бабами. Все репризы, песенки, шутки только об одном: как хорошо нам здесь, на этом маленьком острове свободы…

Я сидела прямо под сценой и видела все стрелки на их колготках. Репризы были построены просто: работали по двое, как клоуны в цирке, идиотский примитивный диалог, забористые площадные шуточки. За столами умирали от хохота. Затем каждая «актриса» исполняла соло: какую-нибудь песню под фонограмму знаменитых певцов. Они открывали рот и трясли всем, что в изобилии имелось на теле, потом спускались в зал и ходили от стола к столу, собирая доллары в огромные бюстгальтеры. Мы тоже набросали полную тарелку долларов. Главное – от людей не отличаться, повторяла Лидка; ее нога лежала на соседнем стуле, обложенная льдом. Всех именинниц вытаскивали на сцену, и там «актрисы» по-

здравляли их все теми же шуточками ниже пояса, а именинница должна была рассказать о себе: кто она, чем занимается, с кем пришла. И все эти бабы, от девятнадцати до семидесяти, выкладывали о себе правду-матку и вытаскивали на сцену своих возлюбленных, таких же баб. Зал реагировал яростно, восторженно, упоенно… За нашим столиком культурно молчали. Именинницу Лидку мы выставить не могли, ее нога возлежала во льду, как дорогой осетр на прилавке рыбного отдела, да и ориентация у нее, у бедолаги, была уныло традиционная, нечем хвастать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.